

Колокол памяти

Владимир Тендряков, можно считать, отправился на войну на следующий день после своего выпускного вечера, после десятого класса, этим следующим днем было 22 июня 1941 г. Он начал войну солдатом и солдатом прошел ее сквозь сорок первый, сорок второй в Сталинграде и сорок третий, пока в августе под Харьковом его не ранило и надолго не уложило в госпиталь. После ранения он демобилизовался в 1944 году старшим сержантом. Он воевал связистом. Вот вроде бы и все, что он рассказывал о своей войне. А чего еще рассказывать? Так обычно все солдаты рассказывают. Война для него была работой. Это был ежедневный физический тяжелый труд, связисты — это пудовые катушки с кабелем, рации, аккумуляторы, не считая смерти, что свистела и свалась со всех сторон. Провоевать два года солдатом — много, много жизни можно прожить за этот огромный срок. И тем не менее в писательской биографии Владимира Тендрякова военная тема почти не представлена. У него нет ни романов, ни повестей о войне. Он не был исключением. Я знаю таких писателей-солдат, которые избегали писать о войне. Современность с самыми разными, но всегда жгучими проблемами увлекла Владимира Тендрякова все эти годы и, казалось, не отпускала ни на шаг. Смерть грубо на всем ходу оборвала его жизнь. Он не очень любил распространяться о своих планах и отвечать на неизменный вопрос: «Над чем вы сейчас работаете?» Его волновали проблемы воспитания молодежи, проблемы школы, религии, судьба социальных утопий, социальная психология, история... В этом смысле он был, на мой взгляд, один из самых широких писателей с удивительно разнообразным кругом интересов, при этом интерес его был интересом художника мыслящего — самостоятельно и глубоко.

Никто, кроме близких, не знал, что в самое последнее время он стал писать о войне. О своей войне. Что-то вдруг потянуло. Я могу представить себе это что-то. Оно прорывается сквозь любую злободневность. Память о войне, о своих товарищах по полку, погибших, пропавших, память эта, оказывается, жила в тебе неистребимо. Однажды ее жар прорывается и все далекое высветливается до малейших подробностей. Целая жизнь, прожитая после войны, куда-то исчезает, и ты оказываешься лицом к лицу со своей юностью, с войной — с теми «сороковыми-пороховыми».

Владимир Тендряков подчинился этому зову. Он успел написать несколько военных рассказов от первого лица, и в них происходит почти все так, как это было с ним самим в тот 1942 год. Его рассказы удивляют свежестью, а бы сказал, безыскусностью... Как будто они написаны тогда, ну хотя бы в госпитале. В них нет знания того, что будет: Сталинграда разгрома немцев, наступления... То, что всегда так опасно в книгах о войне... И это не з н а н и е открывает великую нравственную силу героя — восемнадцатилетнего солдата. Детали военного быта — они сохранены совершенно точно, но, что куда дороже, это правда состояний, психология того времени, восприятие первого боя.

Нас часто спрашивают на Западе: почему вы так много и долго пишете о войне? Зачем снова и снова возвращаетесь к этой теме? А затем, отвечаем мы, что до тех пор, пока человечество помнит о второй мировой войне, не начнется третья мировая. Во всяком случае, память народов — препятствие на пути и новой войне. Литература — это колокол памяти.

Сегодня писать о войне после всего сказанного нашей, да и мировой литературой весьма непросто. Особенно художникам, требовательным к себе. Можно позволить себе писать, если ты сумеешь сказать нечто новое, не повториться. Талант Владимира Тендрякова помог ему счастливо избежать этой опасности. Он показал нам становление солдата, труженика войны, в период самый трагический. На наших глазах из отчаяния и страха происходит рождение стойкости, воинского долга, умения воевать и той глубочайшей душевной, еще ничем не доказуемой веры, которая спустя годы привела нас к Победе.

ДАНИИЛ ГРАНИН

ВЛАДИМИР ТЕНДРЯКОВ

День, вытеснивший жизнь

1



шелон в последние сутки гнал без остановок. Сейчас он полет по рельсам, ощупывает колесами стык за стыком, стык за стыком — тягостно долго. Но вот тормозной скрип, лязг бугеров — встал! В набитой теплушке смачный басок возведает:

— Приехали!

Приехали не куда-нибудь, а на фронт.

У каждого из нас путь к фронту наверняка не прямой, а с загибами.

Я окончил школу за полтора часа до начала войны. В два часа ночи мы, переставшие быть десятиклассниками, разошлись с выпускного вечера, в три тридцать, как известно, немецким войскам был отдан приказ перейти нашу границу — «час Ч» по их планам.

В двенадцать дня это стало известно всем. Полчаса потребовалось ребятам нашего класса сбежаться к школьному крыльцу, полчаса мы митинговали друг перед другом, еще через полчаса — с торжественно патриотическими физиономиями вступили в военкомат: «Требуем немедленно отправить нас на фронт!» Военком до обидного легкомысленно отнесся к нашему похвальному патриотизму: «Отправим, не засидитесь».

Мои товарищи не засиделись, всех их быстро направили в училища — кого в пехотное, кого в танковое, кого даже в авиационное. У меня врачи обнаружили черт те что, астigmatизм — плоховато, оказывается, вижу правым глазом. Военком посочувствовал: «Попробую тебя в интендантское». Меня это «попробую» возмутило до глубины души: «Портянки считать? Ни за что! Пойду рядовым.»

И целых два месяца ждал.

Отправили по первому снежку с партией парней из дальних деревень пешком с котомочкой до станции. Свои восемнадцать лет я встретил на пересыльном пункте. И верилось тогда — до фронта рукой подать.

Но... «Со средним образованием шаг вперед!» — в дивизионную школу младших командиров.

На головокружительно высоком берегу реки Вятки горделивый старинный собор. В нем в три этажа — едва не до купола — дощатые нары. В нем незримо присутствует дух великого Суворова, бросившего в свое время неосторожную фразу: «Тяжело в учении, легко в бою!» А потому у нас ежедневно строевые занятия, время от времени изнурительные броски по сто километров и больше и не слишком обременительное обучение воинскому мастерству.

Учимся прямо на нарах, там, где спим. Помкомвзвода простуженным голосом читает Устав караульной службы, косит начальственным глазом — кто дремлет?

— Курсант Тенков! И шо я казав?

Еще не проснувшись, оказываешься в стойке «смирно», руки по швам, только не по уставному на коленях — на нарах не вытянешься во весь рост по форме.

— Один наряд вне очереди!

Отметок в школе не ставят, знания поощряются нарядами. В ночном карауле чаще всего стоят те, кто не освоил Устав караульной службы.

По военному времени срок подготовки младших командиров сокращен. Через два месяца мы прикалываем к полевым петлицам сержантские треугольники — в часть! Теперь-то на фронт?.. Нет, погоди. У части пока есть только номер, самой части не существует. Повезли на формировку за Вологду. Делим черные, свинцово-тяжелые сухари, хлебаем вместо супа мутную водичку, промерзаем до костей на ночных часах, еле таскаем ноги и мечтаем: скорей бы на фронт, обрыдло!

В очередной раз среди ночи подымают по тревоге, ведут на станцию, нас ждет эшелон. Наконец-то!

Черной ночью минуем Москву, в великом городе ни одного огонька. Настраивались на дальний путь, а высаживают очень быстро — под Тулой. Фронт здесь был, но в прошлом году далеко ушел. Осталась разгромленная усадьба Ясная Поляна, у входа подбитый немецкий вездеход, продырявленные пулями бочки из-под горючего. А уже

вовсю весна — ярая грязь на дорогах и захлебываются соловьи. Потомки тех соловьев, которых слушал Лев Николаевич Толстой, когда писал сцену смерти Хаджи-Мурата. Нам же не до соловьев — мокро, холодно, кружим, не понять, зачем, по толстовским местам, месим грязь, спим в полях по ометам соломы.

Новая станция, новый эшелон — вот теперь-то уж без обмана на юг, там большие бои. Куда нас бросят, под Харьков или под Ростов?..

И крепко пригревает весеннее солнышко, бойко стучат колеса. На разъездах нагоняем другие эшелоны, солдаты высыпают из теплушек, появляется обшарпанная балалайка. Эх!..

Барыня, барыня, барыня-сударыня!..

Топчут кирзовые сапоги шлаковую земельку между путями.

Но далеко не доехали до Харькова, тем более до Ростова, как поскучнели сводки Совинформбюро — немец прорвал фронт. Колеса теплушек застучали медленнее, на какой-то станциوشке загнали нас на запасные пути — прочно застряли.

Наступило лето, пока мы наконец тронулись...

— Приехали!

Загромыхали отодвигаемые двери, толкаясь, переругиваясь, похохатывая, сыплются солдаты из теплушек. Вздвигаются заливистые голоса помкомвзводов:

— Пе-р-рвый аг-невой! Выгружаться!

— Вта-арой аг-невой!..

— Взвод управления, строиться! Быс-стр-ра!

Мутно-голубой, неохватно плоский мир. Тяжело отдувается паровоз, за ним хвост — пыльно-бурые вагоны, платформы с зачехленными пушками. Рельсы вперед, рельсы назад, а вокруг пустота, ни намека на какое-либо строение, ни кособокой будки, ни объездных путей, только затуманенная предрасветная степь да пепельный купол неба. Дымчатые дали загадочны, распахнутый мир безучастен к нашему приезду. Хоть какое-нибудь шевеление, хоть бы ветерок подул. Не по себе от покоя, война идет!

Но гремят копыта коней по сходням, суетятся ездовые, покрикивают огневики:

— Р-раз-два! Взя-ли!

Пушки покачивают зачехленными пламегасителями, степенно сползают вниз.

Все-таки приехали. Война где-то рядом.

2

Пушки к бою едут задом,
Это сказано давно.

С царским почетом, попарно цугом шесть лошадей тянут одно длинноствольное семидесятишестимиллиметровое орудие. А их шестнадцать, четыре батареи, восемь огневых взводов — солидно выглядит колонна дивизиона. Нахохлившись, торчат на конях ездовые, орудийные расчеты, как воробьи, тесно на лафетах и зарядных ящиках, а взводы управления — разведчики и связисты — пешком. Марш! Марш!

Дорога как бы скачет по степным волнам, появляется на гребне, тонет, вновь появляется, чем дальше, тем тоньше, призрачней, пока не растворится в зыбкой просини. Ездовые впадают в дремоту, кони

шагают сами, подшевеливать не надо, и стволы орудий важно кивают чехлами: марш, марш!

А я оглядываюсь назад, поражаюсь ясному спокойствию неба за спиной. Оно еще не подрумянено, еще не пробилась лучи солнца, не подпалили крайину неба, но скоро, скоро оно займется... Замечаю, оглядываются и другие. На то, что было...

У каждого за спиной дом, мать, отец, братья, сестры либо жена, либо девчонка, с которой целовался у калитки. Я с девчонкой у калитки пока не целовался, еще не успел. Но дом за спиной есть. Он в далеком, далеком отсюда селе Подосиновец, окна выходят на травянистый пустырь, на старую, со сквозной колокольней церковь, на зелено-синие лесные заречные дали. Глава и законодательница в доме мать, она всегда командовала отцом, мной, моим младшим братишкой. Теперь под ее началом только брат. Отец был комиссаром в гражданскую войну, в эту его призвали сразу же, на второй день. И вот уже восьмой месяц от него нет писем... Пусто в доме, неуютно матери, жалуется на брата — непослушен. Есть еще одна живая душа, рыжий кот, гуляка и лиходей, давит соседских цыплят, промышленит по кладовкам...

Оглядываемся назад, на свое прошлое, но даже поезда, который нас привез, уже нет, спешно отбыл, чиста степь. Порвано с прошлым. Марш! Марш! К Линии Фронта!

Мы встречались с теми, кто уже успел побывать возле Нее, жадно расспрашивали, но эта Линия, пересекающая теперь нашу страну от Черного моря до Ледовитого океана, так и осталась загадкой из загадок. Никому не по силам было рассказать о Ней. Скоро Ее сами увидим. Она там, где небо смыкается со степью, но как ни размашиста степь, а часа за два пересечем ее. Тянут кони пушки, мы идем.

Вбивая в слежавшуюся пыль тупые короткие ноги, шагает наш помкомвзвода Зычко, из пухлой спины растет крутой, как булыжник, подбритый затылок. Время от времени Зычко оборачивается всем сбитым корпусом, хозяйски озирает нас недремлющими совиными очами.

— Пыд-тя-нысь!

Так, для порядку, никто не отстает. После долгой жизни в тесной теплушке приятно размяться по свежему занимающемуся утру.

С лентой, вразвалочку выступает Сашка Глухарев, рослый разведчик. С него хоть картину пиши образцово показательного бойца — комсоставский ремень туго стягивает тонкую талию, гимнастерочка заправлена без морщинки, на широком плече небрежно болтается карабин, на бедре шашка, на ногах не кирзачи, как у всех нас, а яловые, гармошкой еще не тронутые пылью сапоги. И лицо у Сашки внушительное, треть его уходит на квадратный подбородок с тщательно выбритой ямкой посередине. Даже Зычко остерегается командовать Сашкой, а сам командир дивизиона майор Пугачев при встрече здоровается с ним за руку.

Как всегда, рядом с Сашкой Чуликов, тоже разведчик, но совсем другого покроя. Поход только начался, а он уже в запарке — мотня галифе сползла до колен сапоги с широкими голенищами воюют нескладно со свисающей шашкой, острый нос из-под каски напряжен. Спотыкающийся на каждом шагу Чуликов — студент из Москвы, и никто лучше него не делает расчеты для стрельбы: без всяких таблиц мгновенно соображает в уме и никогда не ошибается. Сашка опекает Чуликова и забавляется им.

— Чулик, у тебя баба была?

— Пошел к черту!

— Нет, серьезно, сколько их перебрал за жизнь?

— Не считал.

— Так много? Со счета сбился!

— Отстань, жеребец!

— Отстаю, Чулик, отстаю. Ты вон каков, со счету сбился. Где мне за тобой угнаться.

Плечо в плечо со мной телефонист-катушечник Ефим Михеев, над костистым носом кустистые пшеничные брови, закрывающие глаза. Молчун, хозяйственный мужичок-кулачок, Ефим частенько выручает меня по мелочам. Отвалилась пуговица от гимнастерки, потерялась звездочка с пилотки, нужна чистая тряпочка для подворотничка — все появляется из его вовсе не объемистого вещмешка. По армейской разрядке я его прямой начальник, но он зовет меня сыном, а я его батей. Мне никогда не приходится ему приказывать, да и просить тоже. Батя раньше меня соображает, что нужно выполнить, и выполняет на совесть.

Сейчас к нему липнет Нинкин — тоже мой телефонист, тычет под костистый нос ножичек с наборной ручкой.

— Вещь али не вещь? Взгляни.

Ефим молчит, не смотрит.

— За одну ручку осьмушку отвалят. Мастер делал.

Ефим молчит.

— А я с тебя на пять заверток табачку прошу. Грабь, пока не раздумал.

Ефим выдавливает ухмылочку.

Нинкин мал ростом, суетлив, физиономия смуглая, нос с горбинкой, густые, сросшиеся над переносицей брови: «Меня мама с цыганом прижила». Наверно, так оно и есть. Сейчас Нинкин в подозрительно замасленной гимнастерке, потасканные галифе с аляповатыми заплатами на коленях, да и вместо сапог стоптанные башмаки с обмотками. А ведь на формировке всех обмундировали в новенькое. И уже можно не сомневаться, запасной пары белья в мешке Нинкина нет. Все он изловчился сменить, пока ехали к фронту, на самогон да «на закусь».

Степь вздрогнула, шевельнулась, зарумянилась полосами, старчески покрылась морщинами. Все заоглядывались, все, даже ездовые на конях. И на медных лицах радостные розовые оскалы. Краешек солнца, оторвавшись на пядь, висел над землей. Багровый глаз изумленно взирал на нас. И даже взбитая на дороге пыль зацвела.

Но это происходило у нас за спиной, а там, куда мы шли — марш! марш! — упрямо держалась угрюмая просинь. Ночной неразветвенный осадок. Солнце подыметесь вверх, привычно прошествует по небу, и закатится оно там. Но мы опередим его, там будем много раньше. Вкрадывается тихая до ужаса мысль: кто-то из нас не доживет до заката. Идем в бой, боев без жертв не бывает.

Уверенно вбивает короткие ноги в дорогу помкомвзвода Зычко. С ним у меня старые счеты, еще по дивизионной школе — и там был моим помкомвзвода, постоянно гонял по нарядам.

Красавец Сашка Глухарев легко несет себя по земле, еле поспевает за ним путающийся в шашке Чуликов.

Нинкин пристаёт к батю Ефиму:

— Три завертки табачку. Грабь, жила!

С ними на марше и я.

Кто-то из нас... И никто почему-то не обмирает от неизвестности. Идем в бой.

3

Возле нас вспыхивает веселье...

Сзади натужно вызревает солнце, на дороге зашевелились тени, степь улыбочиво рдеет местами, высокими взлобками, низинки же, как озера, заполнены тающими сумерками. И тронулся ветерком воздух, прогладил по степи, в ней серым козликотом заскакало перекати-

поле, спутанный клубок колючек. Радостен белый свет, прекрасна выпавшая тебе жизнь.

Огневики не выдержали, попрыгали со своих насестов — приятней шагать, чем трястись на лафетах. Они сразу внесли оживление в колонну, заметили отчаянно воюющего со своей шашкой Чуликова.

— Эй, разведка, продай селедку!

Это избитый повод для шуток, но вовсе не безобидный для разведчиков. По старой традиции разведчикам в артиллерии на конной тяге положены кавалерийские шашки. Их выдали, а коней нет. Шашки старые, в облезлых ножнах, тупые, как доски, тяжелые, что стволы противотанковых ружей, украшеньице. Что может быть нелепее, чем кавалерист без коня. Конями же в походах пользуются орудийные расчеты, не снабженные шашками. Кому досада, кому забава.

Приятель крикнувшего участливо спрашивает:

— И зачем тебе, Вася, селедка?

— От мух отмахиваться.

Огневики ржут, разведчики помалкивают.

— Вынь клинок, фараон, чё зубы скалят.

— Ой, ой! Разбежимся. Кто из пушек стрелять будет?

— Они селедками немецкие танки порубят.

— Как бы не затупились.

— Наточат. Эвон у Зычко зад, что жернов.

Зычко вышагивает, выставив грудь, презрительно воздев подбородок — бог и царь в своем взводе, над разудалыми огневиками он власти не имеет. Но Чуликова смутила столь наглая дерзость, в очередной раз спотыкается о злосчастную селедку и...

— Ох-ох! Не порежься!

— Га-га-га!..

Все грохнули — растянулся.

Смеемся мы, связисты, смеется Сашка, смущенно улыбается подымающийся Чуликов. Ему сочувствуют:

— Сестричка-то с норовом, солдатик.

Один Зычко хмур и важен, топчет дорогу, не обращает внимания на веселье.

Высокий тенор полудурашливо-полувсерьез заводит:

Солдатушки, бравы ребятушки,
Кто же ваши сес-стры-ы?..

Несколько бодрых голосов охотно подхватывает:

Наши сестры — сабли востры,
Вот кто наши сес-стры-ы!..

Пожарно разгораясь, пошло, пошло по колонне. Вступают и те, кто вдали, в веселье не участвовали:

Наши гости лезут сюда в злости.
Раз-зомнем им кос-сти-и!

Без спешки, уверенно выступают в ременной оснастке кони, качаются стволы орудий. Степь все румянится и румянится, молодеет, яснее и раздвигается небо, к нему несется счастливо заносчивый — трын-трава! — вызов:

Наши пушки — тоже не игрушки
Грянем в наши пуш-шки!

И я, безголосый, самозабвенно пою. Легок мой шаг, просторно в груди, высоко держу голову, радость жизни распирает меня. Впереди война, кого-то из нас ждет смерть, идем ей навстречу и — трын-трава, все нипочем. Знать, правда, есть что-то сильнее смерти.

Первое серьезное открытие в наступающем дне.

Дорога оживилась. Только что шли одни, вольно шагали — марш! марш! — и не заметили, как стало тесно. То и дело слышится скачущая по колонне команда:

— Принять вправо!.. Вправо принять!..

Нас обгоняют танки, устрашающе высокие «КВ», обдают пылью, бензиновой гарью, натруженным теплом, земля дрожит, до того тяжелы ходячие крепости. Они в лязге и грохоте исчезают вдаль, будут раньше нас. Давай, родимая силушка, выручай страну, а мы поможем: «Наши пушки — тоже не игрушки...»

— Принять вправо!

Нагруженные грузовики один за другим. Уступи мотору, конная тяга! Ездовые усердствуют кнутами:

— Вороти, сатана! Тудить тебя в селезенку!

— Принять вправо!

Новые машины жмут нас на обочину. На каждой какое-то сооружение, укрытое брезентом, похоже на складные пожарные лестницы. Что ж, все может быть, где стреляют, там и горит. Только что-то чересчур многовато пожарных машин... А по колонне уже летит почтительное:

— «Катюши»... «Катюши»...

Эге, еще те пожарники — не тушат, а жгут. Под Москвой припекли немца. Тайнственное оружие, в тылу о нем ходят дивные сказки, дух захватывает.

«Катюши» тоже раньше нас будут на месте. Тесно на дороге, сила идет, берегись, фриц!

Солнце уже высоко, жжет сквозь гимнастерку, от пыли першит в горле, во фляжке у пояса вода, однако терпи. До Линии Фронта шагать да шагать...

Но через несколько шагов фронт вдруг оказался рядом, прямо над каской.

С неба упал тягучий моторный вой, приглушенная очередь. На дороге легкой сбой, солдаты натывают друг на друга, задирают лица.

— Эх, мать честна! «Мессер» «кукурузника» давит.

Висит в стороне над степью самолетик — два крыла этажерочкой, растопыркой колеса. Он отчаянно стрекочет, но это ему мало помогает, ползет, буксует в воздухе. А возле самого солнышка, коршуньи темный, разворачивается другой самолет. Подставился на секунду солнцу, словно похвастался — я вовсе не темный, я целиком серебряный, — ринулся с занебесной высоты на стрекочущего тихохода...

Кони равнодушно тянули пушки, а люди заворуженно застыли, запрокинув каски.

Медлительный «кукурузник», видать, совсем обезумел, лег на крыло, повернул навстречу.

Не ругань, короткие выдохи с дороги:

— Куд-ды?!

— Смерти ищет!..

Косо падающий убийца выпустил туманные, как паутина, нити. С запозданием злой пулеметный перестук...

— У-ух!!! — обвальная вздох.

Промаях. Убийцу с ревом занесло далеко в конец степи, и там, гневно стеная, с натугой стал разворачиваться. «Кукурузник», усердно стрекоча, пытается удрать, жмет к земле. Но где ему, буксующему. Хищнику тесно в просторном небе, рыча от натуги, он снова начинает падать. Тихоход неподатливо трудится над степью и... почти на месте поворачивается, успевает нырнуть под паутинную полосу трассирующих пуль. На земле рождается несмелое веселье:

— Мастак, едрена Матрена!

— Сердит кот, да и мышка ловка.

— Опять, гад, круто берет.

— Авось с маху врежется.

— Вот ба...

Но в землю врезался прижатый «кукурузник», видно было, как он игрушечно перекувырнулся среди степи. «Мессер» с победным ревом низко прошел над жертвой, не подымаясь вверх, косо пересек степь, завис впереди над дорогой. В моторный гул вплелась длинная жесточенная очередь.

— Наломает дров, сволочь!

Кони последней батареи невозмутимо тянули пушки, качались длинные зачехленные стволы. Никто не тронулся, все вслушивались, вглядывались. Самолет удалялся, побоище впереди затихало.

— Напакостил и смылся.

— Чего наши молчали? На бреющем шел, в упор бей.

— Из трехлинеек? У него брюхо бронированное.

— А «кукурузник»-то не горит. Не видать дыму.

— Поди, и летчик цел.

— Гляньте, не оттуда ли спешат?

По степи к дороге, то исчезая, то выныривая, прыгал «виллис», болотно-зеленый, пятнистый, сумасшедшая лягушка.

— Давят всюю.

— Раненого спасают.

— Шибко раненного с бережением бы везли.

— Ужо увидим. Похоже, мимо проскачат.

— Пошли, братцы, догонять пушки.

Прошли совсем немного, впереди показался «виллис», требовательно сигнала, обойдя по обочине порожнюю полуторку, проскочил мимо, обдав пылью. На заднем сиденье, втиснутый между двух ярко-зеленых гимнастерок, человек в кожанке, белым марлевым лбом вперед. Из широкого марлевого обруча мечущаяся на ветру волна волос.

— Дев-ка!.. Летчик-то — дев-ка, ребята!

— Фриц с бабой воевал.

— Ловко она с ним танцевала.

— На одинаковых бы машинах им встретиться, кто б сверху был, кто б внизу лежал?

— Умотала молодца с брюхом бронированным... на спичечной коробке.

— Жива, любушка, жива! Сидит, не валится.

— Женский пол, что кошки, живуч.

И долго не могли успокоиться. Огневики, связисты, разведчики спешили за удалившимися пушками, оживленно беседовали, на ходу творили легенды:

— Шибко-то худо про «кукурузник» не думайте, он вроде волка воздушного, по ночам охотится. Вылетит вот такая Дуняша, когда потемней, мотор выключит и планирует над немецкими окопами, а сама фонари вешает...

— Фонари? Куда?..

— На воздух, дерево, на воздух. На парашютиках фонарики. Спускаются себе и светят, хоть иголки собирай внизу. А что выше их, не проглядишь, глаза слепят. Летит себе поверху Дуняша, выглядывает огневые точки противника. Каски торчат, пулемет на бруствере — все видно. Белой ручкой Дуняша кап на них противотанковую гранатку — были да нет, мокрое местечко на память.

— Ну и брехлив. Тебе б вместо собаки дом стеречь.

— Поползаешь по передовой поверишь и не в такое.

— Эй, чтой-то дымит впереди!..

Вдали по дороге лениво полз в небо неопрятно черный дым.

— А гад с бронированным брюхом пустил-таки петуха, — подо-садовал рассказчик о Дуняше с белой ручкой.

Никто ему не ответил, лишь прибавили шагу.

Горел танк «КВ», один из тех, что шли мимо меня и земля дрожала. Он теперь не выглядел мощным — ходячая крепость, — посреди дороги громоздилась гора копотно черного металла, из щелей сочился грязный дым, в его жирных клубах купалось тускло-красное солнце. Угарно воняло жженой резиной.

Солдаты топтались, отстраненно разглядывали, было известно, экипаж спасся, а сам горящий танк явно не вызывает сочувствия.

— Из пушки, что ли, «мессер» шарахнул, иль от пули загорелся?

— Эти «КВ», жестяные хоромины, от спички горят.

— Велика Федула да дура.

— Новые танки, вот те хвалят.

— Хороши кони в заводе, да на пашне их нет.

В стороне от чадающего танка убитая лошадь, рыжая и ребристая, на обочине перевернутая повозка, по щетинистой пыльной траве раскидано армейское барахло — коробки с пулеметными лентами, сиреневое трикотажное белье... Были, наверное, и убитые, и раненые, их успели прибрать. Поразбойничал молодец с бронированным брюхом.

На лоснящемся жеребце вырос возле пушек командир дивизиона майор Пугачев в косо сидящей каске, автомат на шее, бронзовое лицо, широкие плечи, зычный голос.

— Вправо с дороги! Побатарейно в степь! Интервал триста метров!

Сворачиваем не только мы, но и машины, и обозы — подальше от опасной дороги.

Буро-ржавая степь до удушья пахнет распаренной полынью. Сквозь подметки сапог чувствую, как круто спеклась земля. Давно уже сорвал с головы накаленную каску, пилотка насквозь мокра от пота, пытаюсь поймать лбом ветерок, но воздух недвижим, лишь плавится от зноя, колеблет степные дали. И режет плечо ремень вдруг потяжелевшего карабина.

Горящий «КВ» и солдатские осуждающие разговоры нежданно-негаданно отравили меня. Всегда свято верил в нашу силу, с восторгом смотрел в кино, как слитно маршируют наши войска: одна нога шагает вперед — тысячи с ней, подымается одна рука — с ней в едином взмахе тысячи. И я, мальчишка, незаметно живущий в далеком от Москвы, ничем не прославленном селе, всей душой там, в общем марше. Тысячи таких сел, миллионы таких, как я, весь советский народ, как один человек. Мои войска шагают, мои танки идут. Самые мощные, самые грозные из них — «КВ», больше всех ими восторгался, больше всех в них верил. Счастье было встретить их на дороге — идут к фронту, будут там раньше нас, надежно прикроют, со мной сила! А не прошло и получаса, как один «КВ» вышел из строя, горит, не дошел до фронта. Мои старшие товарищи, оказывается, ничуть не удивлены: грозные «КВ» от спички горят, «велика Федула...» Немцы здесь, в глубине страны. Мы сильны, верю в то, не могу сомневаться, но какая же сила тогда прет на нас?..

Мучительные мысли — «КВ», моя надежда, мой старый кумир, подвел меня. Без мучений с кумирами не расстанутся.

— Воз-дух!

Мучительные мысли разом вылетели из головы.

Одни ездовые закричали, заулюлюкали, нахлестывая лошадей, без нужды заворачивали их в сторону. Другие скатывались с конских спин на землю, растерянно приседали, задирали головы. Огневики рассыпались по степи, стаскивали карабины. Я тоже сорвал карабин, припал к горячей полынной земле, жадно вглядываясь в небо. Лишь один майор Пугачев не покинул седло, замер на жеребце посреди степи.

Самолет шел прямо на нас, самолет-одиночка с неровным, моно-

тонно качающимся звуком мотора. Не спеша, не снижаясь и не набирая высоту, он рос на глазах и странно преображался, с каждой секундой становясь все диковиннее. Это был не один самолет, скорей два, сросшихся воедино. Два туловища на одном просторном крыле! Во сне не приснится...

Все держали наизготовку карабины, жалкое оружие против воздушного нападения. Но никто не стрелял, забыли, смотрели, замороженные, снизу. И самолет не проявлял угрозы, плыл ровно, с безразличным равнодушием, на одной ноте, на одной высоте.

Странное сооружение пронесло над нами свой раздвоенный хвост, казалось, не обратив на нас, на наши пушки никакого внимания, презрительно дозвояя глазеть на себя. И мы изумленно глазели с распахнутой земли на невиданное чудо, забыв об опасности.

И только, когда оно удалилось, раздалось несколько бестолковых выстрелов вслед да неподалеку от меня кто-то витиевато матерно выругался с явным облегчением.

Повскакали, возбужденно заговорили:

— Чтой это, братцы?

— Огорожа у немцев летает.

— И зачем им такой урод?

Но в солдатской массе всегда найдется сведущий, и уж он не утаит. Через минуту разнеслось:

— Слышь, Фока Вульф какой-то.

— Рама. Корректировщик.

— По какой надобности?

— По доглядыванию.

— Гляди, не жалко, только вниз не плюй.

— Э-э, деревня! Он вот глянул и уже доносит — полоротые с пушками по степи идут. Жди коршунов, они не спустят.

— От гад раздвоенный. Убираться надо скорей отсюда.

— Эг-ге! А это еще чего?..

Под наши сапоги на спаленную траву начали ласково ложиться белые листки. Синее небо было заполнено лениво кружащимися блестяками.

— Листовки!

— Письмецо от милашки.

— В любви, поди, признается.

С охоткой хватали, с любопытством вчитывались.

На скупом кусочке папиросной бумаги под растопыренным орлом, сидящим на свастике, как на яйце, подслеповатый текст:

«Спеши спасти свою жизнь!

Жиды и коммунисты ведут тебя к гибели. ШВЗ — штык в землю!

Эта листовка является пропуском при переходе к нам в плен».

Раньше пуль до меня донесся голос врага. Он не только возмутил меня, он поразил своей откровенной тупостью. С оскорбительной спесивостью предлагает — «Спеши спасти свою жизнь!» — и рассчитывает, что сразу послушаюсь, воткну штык в землю. От отца уже восемь месяцев нет писем. Он убит. Ими! ШВЗ — штык в землю. Как же, сейчас... И эта бесцеремонная грубость — «жиды и коммунисты» — должна мне нравиться? И непристойная игра на простачка — пропуск даем, пользуйся... До чего же, оказывается, глуп мой враг. Родилось брезгливое к нему презрение. А уж того, кого презираешь, бояться нельзя.

Кто скажет, какими неуловимыми приметам питается наша интуиция? Не с этой ли первой немецкой листовки моя мальчишеская слепая вера в победу превратилась в убеждение?

Нинкин подкатил к бате Ефиму.

— Не скаредней же ты немца. Ась? Он мне бумажку дал, а ты, что ль, табачку пожалеешь?

И Ефим полез за кисетом.

— Ну и оторва ты.

Выстроились в походную колонну, снова двинулись по степи в полынном дурмане, под сатанеющим солнцем. Вдали погромыхивало, не я один невольно поглядывал на край неба — не выползет ли тучка, не нанесет ли дождя? Небо было чисто, дали прозрачны. Погромыхивает... Марш! Марш! Мы слышим войну.

6

Встретились первые раненые. У перегревшегося грузовичка с откинутым капотом двое в скудной тени кузова на корточках. Один баюкал руку на перевязи, у другого в марлевой шапке с охватом до подбородка голова, сверху петушиным гребнем грязная пилотка. Оба ярко белоглазые, иконно черноликие, дремуче заросшие, братски похожие друг на друга.

Их бесцеремонно обступили.

— Отвоевались, мужички.

— Подождешь, так вернемся, встретимся. Нас быстро заштопают.

— Тебе голову чинить будут али новую выдадут?

— Голова цела, уха нет.

— Немец-падла откусил?

— Осколочком сбрило.

— Не горюй, поросячье пришьют.

За табачок — по закрутке на брата, все из того же неистоцимо-го кисета бати Ефима — раненые поведали: позавчера тут надавили на немца, отбили два хутора, впереди по дороге торчит немецкая пушка и пушкарь при ней, полюбуется.

Новость понесли дальше, и каждый при этом стеснительно скрывал затаенную надежду: а вдруг да... большое-то начинается с малого, с каких-нибудь отбитых назад двух хуторов.

Никаких хуторов в обзоре не было видно, степь да степь кругом, а пушка без обману торчала за первым же взлобком. Она косо завалилась на обочине, торжественно целилась коротким стволом в нашу незавоеванную сторону. И он при ней в пыльной лебеде, рослый, соломенно-рыжий парень в мундирчике незнакомого цвета жирной, с прозеленью болотистой грязи. Из задранных штанин высовывались тощие, с голодными лодыжками ноги в сползших носках... Первый из врагов перед нами воочию.

Я лелеял в себе мстительное чувство, заранее подогревал его — не этот, так похожий на него убил моего отца. Отцу теперь бы исполнилось пятьдесят лет, он был грузен, страдал одышкой, прошел через две войны, отличался прямоотой, честностью, горячо верил во всемирную справедливость. Для меня не существовало более достойного человека, чем мой отец. Могу ли я не ненавидеть его убийцу?! Я стоял над врагом и испытывал только брезгливость... Но брезгливость не в душе, брезгает мое телесное нутро, а в душу просачивается незваная, смущающая жалость. У этого парня было все-таки небронированное брюхо, коли лежит в лебеде. Так далеко шел, чтобы умереть до тошноты некрасивой смертью. Помню отца, не забыл, но ненависть не накапливает.

Все кругом, как и я, хмуро молчали. И только один Нинкин сердито сплюнул.

— Тьфу! Падаль.

Но и в его голосе не было силы, выдавил из себя по обязанности.

Первым Ефим, за ним все отвернулись, двинулись догонять пушки. Я вырвался из отравленного воздуха, дышал с наслаждением, прочищал легкие. Кто сказал, что труп врага сладко пахнет? Столь же отвратительно, как и любой другой труп.

Среди погромыхивания уже отчетливо слышались путаные выстрелы — из края в край, перегораживая степь между нами и ними. В застою жарком воздухе над нашими головами что-то прощуршало, пришепетывая, что-то невидимое, шерстистое. Бравый Сашка Глухарев, шагавший передо мной, удивленно повел запрокинутой каской и вдруг поспешно осел. Далеко за колонной ухнул и покотился по степи взрыв.

— О-он... — выдохнул Сашка, затравленно глядя на меня.

Странно, образцовый солдат Сашка Глухарев был испуган, даже не пытался скрывать того передо мной. И я, постоянно ему завидовавший, почувствовал тщеславное превосходство, не удержался, чтоб показать его, обронил с пренебрежением:

— Шалый снаряд... — И для пущей убедительности добавил чужие, давно слышанные слова: — Кидает в белый свет, как в копеечку.

— То-то, что шалый... По-шальному вот вкатится.

У Сашки был слабый, вылинявший голос, а на чеканной физиономии вплоть до могучего подбородка свинцовый оттенок.

Через минуту он пришел в себя, снова приобрел осаночку — грудью вперед выступал, небрежно придерживая на плече ремень карабина, но голос так и не стал прежним, Сашкиным, усмешливым. Он словно оправдывался передо мной:

— Сдуру влечет, а ты лежи в лопухах... как тот немец.

Ах, вот оно что! Им, Сашкой, всегда все любовались — видный, ладный, заглядение. И такому красивому вдруг — в лопухах! Любого другого легко представить, но только не его. Сашка привык отличать себя от других — ладный, заглядение, — а вот шальной снаряд разницы знать не знает, для него все равны, что Сашка, что Чуликов. Вспаникуешь, коли сильно себя любишь.

А Чуликова рядом не было. Он всегда держался Сашки. Я невольно стал искать глазами по колонне... Не сразу узнал его — не та походка, шагает со свободной отмашкой, даже мотня штанов, похоже, не очень болтается.

— Эй, Чулик!

Он обернулся. Его узкое лицо всегда было потухше серым, тонкие губы в кисленькой складочке, сейчас же потно румяно, а глаза блестят.

— Где твоя селедка, Чулик?

Ноздри тонкого носа дрогнули в хитрой, затаенной улыбочке.

— Какая селедка? — невинное удивление.

— Забыл, как с ней миловался?

— Вид оружия — селедка? В современных войсках? Тебе помешалось, сержант.

— Давай, давай поиграем в дурочку.

Он приблизил ко мне свои блестящие глаза, они неожиданно лукаво-карие, хохотнул счастливо.

— Даже Сашка селедку бросил, а уж он-то ее любил. К фигуре шла.

Не слишком-то почтительные слова. Бравому Сашке сейчас не по себе. Чуликов весел и самостоятелен. Все кругом выворачивалось наизнанку.

Мы только еще подходили к фронту, а люди уже менялись.

Изменился ли я?..

7

Мы выехали на истоптанную бахчу. Вбитые в пыль узорные листья, и кое-где чугуно темнеют не налившись, с кулак арбузы.

Мы выехали на бахчу, и в воздухе запели пули. Сколько я читал о свистящих над головой пулях, герои книг слушали их без сод-

рогания, но подразумевалось — нужна сила воли, чтоб без содрогания, нужно мужество. Теперь не в книгах, не в кино, исполнилось наяву — над моей головой свистят пули, и вовсе не зловеще, на удивление нежно, застенчиво. Мне нисколько не страшно, даже весело, и никакой силы воли не прилагаю, получается само собой. Может, я исключительная натура, из тех, кто вообще не ведает страха? Но со мной рядом никто не страшится, хотя пули занимают всех, задирают вверх небритые подбородки, оживленно переговариваются:

— Птички божии, не наслушаешься.

— Петь пой, да не клюй.

— Эти пеночки поверху летают. Услышим еще и низовых, что ползей.

Нехитрое пророчество сбылось через несколько шагов. Внезапный, взახлеб яростный визг, я ныряю каской вперед, в смущении поспешно распрямляюсь. Распрямляются и другие, озадаченные и тоже смущенные. Сашка Глухарев отряхивает с колен пыль, прячет лицо.

— Она самая, низовая пташечка.

— Цель?..

— Вроде бы никого.

Наигранное конфузливое веселье, но что-то остается на солдатских физиономиях, что-то одинаковое для всех, какие-то несвойственные прежде складочки и морщинки. Даже у Чуликова...

Он неожиданно возмущается:

— Это глупо!

— Что, умная голова?

— Пулям кланяться.

— А ты сейчас не кланялся?

— То-то, что кланялся. Зачем? Пуля летит быстрее звука. Ту, что клонет, мы не услышим.

— Ходи себе гоголем, а я уж на всякий случай поклонюсь. Голова не отвалится.

— Ничего, ребята, оклемаемся, пообвыкнем.

— Ежели успеем.

Но спокойно шагают кони в упряжке, тянут себе пушки, не остерегаются. Только ездовые уже не сидят на них верхом, соскочили вниз, ведут передних в упряжке под уздцы, так все-таки ближе к земле, надежнее. Пока никого еще не зацепило, никто не ранен.

Появились первые окопы, из них торчат каски. Зарылась в прокаленную землю пехота, лица черные от вьевшейся окопной пыли, сверкают зубы да белки глаз. Устроились они, однако, по-хозяйски — брустверы замаскированы травкой, кое-где накрыты плащ-палатками, чтоб не сыпался песочек вниз, и торчат из канавок-бойниц вороненные стволы ручных пулеметов. А позади окопов даже противотанковая пушечка-«сорокопятка», обвешена, опять же для маскировки, растрепанными арбузными плетями. Бахча обрела суровый фронтальный вид.

Но это лишь задворки фронта, если наши кони с пушками идут дальше. И поют «верховые пеночки», и по сторонам ухают снаряды, а бой впереди, наше место где-то там, ближе к роковой Линии, что пересекает страну, она означена выстрелами.

Шуточки внезапно замолкают. Лицо каждого теперь устремлено вдаль. Даже цыганистое лицо Нинкина, трепача и безобидного ловчилы, сейчас, право же, возвышенно строго. Незвестность подошла вплотную, от нее уже нельзя отмахнуться, нельзя обманывать себя, что не замечаешь. Незвестен зловещий мир, в который ты вступил. Растрavляюще неизвестна твоя судьба — абы скоро, абы нет, будешь, не будешь? И неизвестно, как все обернется, новыми страданиями или искушением от них... Убежден, в эти минуты великое ощущал не

только я, мальчишка с претензией на культуру, но и Ефим Михеев, и Нинкин — все. Каждый на свой лад.

Людам не свойственно терпеть неизвестность. Если они не в силах были что-то объяснить, то спасались самообманом. Неведомо, что там за пределами жизни каждого, а потому придумали рай и ад. Неведомо, когда и как кончится бытие рода людского, и вообразили себе Страшный суд. Пусть жуткий ад, пусть беспощадный суд с ужасами светопреставления, но только не неизвестность. Она противна природе, не совместима с человеческим духом. Но бывают критические моменты, когда она, неизвестность, столь близка и столь зрима, что уже не спрячешься от неё за самообман, принимай как есть. Тогда каждый отмечает в себе случайное и наносное, обращается к одинаково тревожному для всех, главному, великому...

После окопов мы с конями и пушками оказались одинокими в необъятной степи. Обманчивое одиночество. Степь только с виду ровна и необжита. Она капризно складчата, и едва ли не каждая ее складочка потаенно населена. Куда-то же делись шедшие по дороге обозы, машины, «Катюши» и эти грозные с виду и не слишком надежные «КВ», собратья сгоревшего. А дорога гнала силу сюда и вчера, и позавчера, всех укрыла ровная степь, всем нашлось в ней место. Найдется и нам. Но пока мы до него не добрались, пока ни с кем не связаны, ни с кем еще не сроднились, блудные дети. Не терпится сродниться, тогда неизвестность перестанет быть мучительной.

Натыкаемся на окопно-земляничный городок, не спеша шествуем мимо этого скудного степного оазиса — марш, марш! А в нем своя жизнь: млеют на солнце часовые, кучка солдат, голых по пояс, умываются. Они благодарно гогочут, звонко шлепают друг друга по спине, увидев нас, прерывают веселое занятие, смотрят, окликают:

— Эй, артиллерия, бог войны! Заворачивай, перекурим!

Наши стряхивают замороженность, охотно отзываются:

— Прикурка не для вас. Немцу везем!

— Не ожгитесь, божьи ангелы. Он тоже дает прикурить!

Даже лошади пошли веселей, даже ездовые полезли на конские спины, хотя здесь «верховые пеночки» поют назойливей и чаще срываются на злобный визг. Марш! Марш! Бодро взяли вверх по выжженному склону, под повизгивание «пеночек» прошли открытый плоский перевал, скатываемся на рысях вниз.

А внизу тесно сгучились несколько спешившихся конных. Вижу среди них рослого командира дивизиона майора Пугачева, вижу командира своего взвода лейтенанта Смачкина. Он невысок, наш лейтенант Смачкин, подобран, у него слегка кривые — кавалерийские — ноги в мягких сапожках из выгоревшей плащ-палатки и пузырящаяся каска на голове, и автомат с биноклем на шее.

Сашка Глухарев переглядывается с Чуликовым, Чуликов со мной, я с батей Ефимом — здесь! Балка не балка, долина не долина, просто малозаметная вмятина на обширном теле степи — наше место.

— Марш! Марш! — кричат вдохновенно ездовые.

Кони на рысях гонят пушки. Последние метры марша.

8

Лейтенант Смачкин стал командиром нашего взвода уже после формирования, по пути к фронту. С разведчиками он успел как-то познакомиться, провел несколько занятий, экзаменовал, а проэкзаменовав, оставил в покое. И никто не мог сказать, что он за человек, взводный, строг или добр, толков или нет? «Дураком вроде не назовешь, а так кто его знает...» Нас, связистов, Смачкин просто не за-

мечал. Связистами занимался Зычко, «наш фетфебель», как звал я его, за глаза, разумеется.

Зычко жил вместе с нами, из одного с нами котла получал кулеш в котелок, лежал на одних нарах в теплушке, раздавал наряды, следил за чистотой подворотничков, за надлежащей заправкой и выправкой, за ухоженностью карабинов, за бодростью духа и, уж конечно, за дисциплиной, которую понимал не иначе, как беспрекословное повиновение своей особе. За все время всего раз или два он показывал нас Смачкину. Тот появлялся перед строем, влитый в длинную кавалерийскую шинель, в фуражке с черным околышем, свежевыбритый, рассеянный, не замечающий усердно тянущегося перед ним Зычко.

После «здравствуйте, товарищи бойцы» один и тот же вопрос: «Жалобы и претензии есть?»

Жаловаться себе дороже, пришлось бы иметь дело с Зычко, а тот не спускал: «Бога святяго и батьку риднаго вам замещаю!»

Сейчас на нас налетел Смачкин, обожженный солнцем, пропыленный, внушительно вооруженный — автомат «ППШ» на шее, пистолет «ТТ» на поясе да еще бинокль и беспокойно болтающийся планшет на боку.

— Со мной пойдут: Чуликов, Глухарев, Тенков, Михеев и еще... ну, хотя бы Нинкин! Макарыч, ты как, выдержишь? И бегать, и на брюхе ползать придется.

Диво дивное, держался от нас в стороне, а нá вот, и в лицо, и по фамилиям всех знает; бату Ефима, надо же, по отчеству величал, Макарычем. Даже я Ефима по отчеству не знал.

— Разведчики берут стереотрубу и треногу. Связисты — телефон и по катушке на брата. Карабины и саперные лопатки с собой. Вещмешки и противогазы оставить здесь.

Разведчикам надлежит выбрать НП, нам, связистам, протянуть до него связь. На огневой остается Зычко, он уже уверенно распоряжается — кому рыть щели, кому тянуть кабель от батареи к батарее, кому отправляться в обоз за резервными катушками. Я Зычко уже не подчинен, сам Смачкин меня к себе призвал.

Идем по прямой, Смачкин изредка сверяется по компасу, ведет нас к какой-то, только ему известной точке. НП обычно располагается на самой передовой. Пока мы не обоснуемся, пушки слепы, а потому спешим. За моей спиной повизгивает несмазанная катушка, связь тянем прямо на ходу. Скрипит катушка, выбрасывает на сухую траву кабель...

Поле пшеницы. Оно, по степному бескрайнее, остается от нас в стороне, мы задеваем лишь угол. Но даже за малый путь по нему, за каких-нибудь сотню — полторы шагов успеваем увидеть, как жестоко изранено это величавое поле, все в рубцах от колес машин, повозок, гусениц танков, черные подпалины возле рваных воронок. Израненное поле продолжало, однако, зреть, налившись колосья прижимались по-солдатски к земле. Я срываю на ходу колос, разглядываю. Выросший в лесном краю, таких хлебов я еще в жизни не видел. Каждое зерно янтарно прозрачно, как слеза доисторического животного, превратившаяся в драгоценный камень... И никто эти драгоценные зерна уже не соберет — спалят, вытопчут...

— Урожайный год ноне. Страсть! — говорит Нинкин.

Батя Ефим глухо роняет:

— Война клятая!

А Смачкин торопит издали:

— Ножками, ребятки, ножками! Пушки наши молчат.

Мы работаем ножками, сгибаясь в три погибели. Теперь уже стреляют кругом — и впереди, и сзади, и с боков. Где-то неподалеку упорно погромыхивает, вдали гневается басовитый пулемет. И пули

тоскующе стонут по непролитой крови, стонут и яростно визжат. Иногда рассыпью громкий треск по земле, то немец пустил очередь разрывных. Завывая, проходят над нами дружной стаей мины и — кррак! Кррак! Кра-ра-ррак! — вперегонки лопаются за спиной.

— Шевели ножками!

А гимнастерка насквозь промокла от пота, каска на голове раскалена, коснись, обжигает руку. Ломит плечо от катушки, и сильно мешаёт ненужный карабин.

После очередной пробежки Смачкин объявляет:

— Минутный перекур!

Мы мешками падаем на землю. Вправо в выжженном степном западке — минометная батарея. Должно быть, та, что погромыживала в стороне. Громыкает и сейчас, минометы размеренно бьют.

— Ждите. Выясню обстановочку, — приказывает Смачкин, низко сгибаясь, бежит к минометчикам.

Благостно отмякает измученное тело. Только солнце нещадно жжет, от него не спрячешься. Нинкин канючит у Ефима:

— Под богом ходим. Не жилься. Убьет вот, и табачок в запас не понадобится.

Я наблюдаю за минометчиками, они нам сверху хорошо видны. Минометы, как самоварные трубы, стоят в ряд на короткой дистанции друг от друга. Возле каждого из них дружная работа — одни подносят ящики, вскрывают их, другие выхватывают из ящиков мины, кидают третьим, те ловят, заученно скупым движением опускают в трубу. «Огонь!» Миномет плюется и приседает, а над ним уже занесена новая мина... Деловито, без суеты шуруют, как кочегары у паровозной топки. А ближе к нам под штабелем пустых ящиков и совсем мирная картина — под минометные выстрелы обедают, обрабатывают котелки ложками, усердно жуют, с ленцой болтают, кто-то, уже отвалиясь, всласть смакует сигарочку. Вот, оказывается, как воюют — без паники, без надрыва, не на «ура», шуруют и хлеб жуют. Просто. Меня до зависти поражает такая налаженная, обжитая война — не столь уж и страшен черт, как его малюют. И мы приспособимся...

Смачкин возвращается к нам на четвереньках, нарушает наш покой:

— Пошли. Тут уже недалеко.

Выскакиваем на раскатанную степную дорогу и натываемся на такое, чего никак не ждали. Со всех сторон стреляют, пули ноют в воздухе, пули стригут по траве, мы двигаемся перебежками, низко гнемся, поминутно падаем, а посреди дороги тяжелая повозка, пара коротконогих лошадечек, дремотно понурившись, отмахиваются хвостами от слепней. И дюжий парень-повозочный в мешковатой обмундировочке, с опущенным кнутом в руке стоит, не таясь, во весь рост, с надеждой на распаренной физиономии встречает нас.

— Заплутался. братцы. Свою батарею никак не найду.

— Вот увидят да всадыт. и вовсе к богу в рай закатаешься.

— Чего уж... — вяло отмахивается кнутом повозочный. — Знать бы, куда податься... Девяносто пятая полковая... Срочно мины доставить приказано.

— Минометная батарея? Так ты мимо проехал.

— Энтих я видел. энтих не наши.

Его невнимание к пулям заражает и нас, распрямляемся, переминаясь, глядим с осуждением и сочувствием.

Давящий — до терпеть нельзя — вой. Возрос и обрубился. На миг гишина. Предсмертная — ни мысли, ни дыхания. И земля рвется к небу.

— С дороги! Ложись!

Крик Смачкина настагает меня в косом, стелющемся, диковинном прыжке, краем глаза успеваю уловить рвущихся с места лошадей.

Гремя катушкой, карабином, шмякаюсь на жесткую землю, путаясь в оснастке, переворачиваюсь раз, другой, ползу вслепую подалеже от дороги, зарываюсь лицом в полынь. А позади рвется и рушится: грохот — вой... грохот, грохот — вой, снова грохот и снова вой, но уже не столь ожесточенный, напористый... И взрыв на удалении, и тишина.

Освобождаюсь от полынного удушья, подымаю голову. В степи, задрав головы, несутся лошади, груженую повозку кидает из стороны в сторону. За ней, далеко отстав, бежит парень-повозочный, размахивает рукавами... Жив курилка.

В воздухе надо мной явственный шепот, косноязычный, убеждающий меня в чем-то. Ближе, настойчивей, сердитей — шлеп! Рядом с моей рукой на земле осколок, черный, рваный, потерявший силу. Будь он в силе, не только руку, полголовы бы снес, и каска не могла б... Тянусь к нему — ах, черт! — горячий.

— Быстро все ко мне! — совсем близко голос Смачкина.

Мы сползаемся. У Сашки Глухарева лицо странно костистое, глаза слепые, глубоко запали. Остальные словно виноваты — незначай нашкодили, только батя Ефим, как всегда, сурово-серьезен.

— Вперед! — нетерпеливо приказывает Смачкин.

— Нет! — возражаю я. — Связь надо проверить, товарищ лейтенант.

Смачкин с досадой крикает.

— Давай быстренько. Там ждут, а мы путаемся...

С помощью Ефима торопливо присоединяю телефон к кабелю.

— Фиалка! Фиалка!..

Не успеваю сообщить, что связи нет, как, кряхтя, подымается Ефим.

— Перебило на дороге. Пойду пошарю концы.

Дорога пристреляна, и за ней сейчас наверняка пристально следят, только покажись, снова ударят. Мне кажется, что батя идет на верную смерть. Остановить, пойти самому?.. Но, пока я колеблюсь, Ефим уползает, оставив во мне едкое чувство вины.

Все как один, приподнявшись, вытянув шеи, следим за удаляющимися подметками сапог Ефима. Он, даже пластаясь на животе, сохраняет степенность, не торопится. В глазницах Сашки рядом со мной тоска, столь угрюмая, что даже пугает меня. А Чуликов звонко произносит:

— Вот так-то...

На него удивленно оглядываются, он смущается.

Ефим подполз к самой дороге, задержался, поворочал каской вправо-влево, не спеша перебрался и исчез на другой стороне.

Его долго нет, я страдаю.

— Товарищ лейтенант, разрешите помочь ему.

— Лежать!

Концы перебитого кабеля могло разбросать взрывом, не так-то просто их отыскать в траве. Я понимаю, бессмысленно толкаться там вдвоем, буду только мешать батю, но ждать и страдать свыше моих сил.

— Товарищ лейтенант!..

— Лежать!

Наконец-то каска Ефима показывается над дорогой. Я хватаюсь за трубку.

— Фиалка! Фиалка!..

Фиалка сразу же отзывается невозмутимым голосом Зычко:

— Оце добре, Василек. Вже на мисте?..

— Больно скоро. Просто проверка. — Я теперь могу себе позволить говорить с Зычко на равных. И он, похоже, это понимает, не обрывает меня начальнически.

Снова двигаемся короткими перебежками — рывок на десяток шагов, падение, секунда оглядки, вновь рывок... Рядом со мной с обстоятельной старательностью бежит и падает Ефим. У меня не проходит ощущение: я что-то оставил на дороге, что-то такое, из-за чего следует вернуться. Батя Ефим рядом, батя цел и невредим, что мне еще?.. И вспоминаю — линия-то через дорогу не перекопана! Мало ли какого дурака на повозке снова занесет туда, зацепит за кабель, оборвет... Но остановить Смачкина я не решаюсь. Пушки молчат, пушки ждут нас на НП.

9

Трудно сейчас представить ручей, бегущий в раскаленной степи. Но и в ней бывает весна, тают снега. Не один, а, должно быть, несколько ручьев. сливаясь здесь, пробуровили бочажок, и вода кружила в нем, ища выхода. Бочажок давно высох и густо зарос высокой травой с сизыми метелками, мы удобно устроились в нем.

Мы, связисты — батя Ефим, Нинкин и я, — тесно друг к другу вокруг подключенного к кабелю телефона. Смачкин с Чуликовым и Сашкой Глухаревым отправились выбирать место для НП — их, разведчиков, дело. Пока не выберут, мы не нужны, наслаждаемся законным отдыхом.

Шагах в двадцати—тридцати, совсем рядом, траншея стрелкового взвода. Это и есть самый передний край фронта, за ними уже никого из наших нет, за ними нейтральная полоса, ничейная земля, а дальше противник. День в разгаре, в самом разгаре и бой.

Только издалека кажется, что передовая охвачена трескучим пожаром. Вблизи пожара не чувствуешь, идет работа. Слева бьет короткими нервными очередями пулемет, на отдалении справа второй, но никак не нервно, не частит, с явной прикидкой и примеркой. Еще реже вступает третий, как раз напротив нас, зато заводится надолго, обстоятельно, вероятно, не ручной, а станковый. И винтовочные выстрелы не беспорядочны, а набегающими вспышками — кто-то хлопнет раз, другой, и сразу двое или трое поддержат его, разбежится быстрый говорок на всю длину траншеи, постепенно увянет до нового звонкого выстрела...

Для нас скрыта жизнь этого кусочка фронтового края. Изредка над траншеей проплывет каска, не спеша, с покачиванием в такт шагов. Нет, нет да донесутся выкрики, ничуть не сполошные, так, по необходимости:

— Остапенко!.. Где Остапенко? Младший лейтенант зовет!

В двух местах копают, осторожненько выбрасывают наверх рыхлую глину.

Эти чудо-богатыри, что первыми встречают напирającego противника, те, на кого с надеждой смотрит вся великая страна, которых поддерживает мощный тыл с многочисленными пушечными батареями, танковыми соединениями, колоннами машин, обозами, подсобными подразделениями, стараются быть как можно неприметнее, зарываются в землю. Для них мир выше бруствера враждебен. Здесь не слышно тоскующих пуль, здесь пули неистово яростны, жалят черствое тело степи. брызжут сухими комьями, с треском рвутся в траве — немцы часто бьют разрывными.

Пули визжат и над нами, но теперь и мы неплохо укрыты, в сухом травянистом бочажке нас не продувает. Правда, по сторонам, там и сям садняще лопаются мины, но авось — бог не выдаст, свинья не съест — прямым попаданием не всадят. Как мало, однако, надо солдату — минутку покоя и углубление в земле. И еще чтоб не грызла душу забота.

Я прирос к телефонной трубке, постоянно выкрикиваю:

— Фиалка! Фиалка!..

Мне отвечают:

— Фиалка слушает...

Связь есть, и это, право, удивительно. Наш выброшенный на бегу кабель проложен в нарушение всех правил — не по кратчайшей прямой, с разными загибами, без выбора места. И ни на минуту не забываю о дороге, кабель там лежит наверху, не перекопан... Все-таки забота грызет, отравляет покой, но...

— Фиалка! Фиалка!..

— Фиалка слушает...

— Порядокчек!

Я не телефонист-катушечник, а радист. Нет, конечно, не классный, а ускоренной военной «выпечки», на ключе работаю слабовато. Да в полевой артиллерии не так уж это и важно, тут некогда возиться с морзянкой, кричи в микрофон. Зато никакой тебе проволоки, никаких пудовых катушек и проклятых порывов, выкинул антенну, повернул ручку настройки: «Фиалка! Фиалка!» Летит твой голос через степь над дорогами и оврагами, сквозь пули и снаряды... Не оснащен еще наш дивизион радиостанциями.

Но не мечтай попусту и не отравляй покой, насладись минутой. Она скоро кончится, а что будет потом, бог весть. Быть может, нам и не придется больше вот так блаженствовать вместе. Напустив на глаза брови, распустив на лице задубевшие складки, отдыхает батя Ефим. Ерзает, подергивается беспокойный Нинкин — продувной черной глаз с искрой, тонкий, строгого рисунка нос с горбинкой, сквозь коросту пыли проглядывает свежая смуглота подвижной физиономии. А ведь Нинкин-то красив!.. Меня захватывает острое чувство братства. К Нинкину тоже.

— Ты кем на гражданке был, Нинкин?

Он ничуть не удивляется моему вопросу, словно даже ждал его.

— Ты, сержант, спроси, кем Нинкин не был.

Ефим-молчун хмыкает и отверзает уста:

— В начальстве ходил, разве не видно.

— А что? Был. Не долго, конечно, три дня всего.

— Ужли?.. Кем?

— Заготовителем! — отчеканивает Нинкин. — Ты, елка дремучая, поди, и слова-то такого не слыхивал.

— А три дня почему? — интересуюсь я.

— День-ги!.. — вздыхает Нинкин. — Век с ними не лажу. А тогда мне три тысячи отвалили с хвостиком на закуп кожсырья. Пропил, говорили... Да разве можно столько сразу пропить и живу остаться. Пропил я, сержант, совсем чуть-чуть — хвостик. А три тысячи приятели хорошие вынули. Ну и вышло — три дня работал, три года получил. Повезли Нинкина лес валить...

— Во! — удивился Ефим. — Уметь надо.

У Нинкина на чумазой личине задорно блестят глаза, редкозубый рот до ушей — доволен неудавшейся высокой службой. Кто как жил раньше — самая распространенная тема при редком армейском досуге. Только об этом и говорили на нарах дивизионной школы, на привалах в походах, в теплушках во время пути. И не было случая, чтоб кто-нибудь непохвально отозвался о своем прошлом. Все сладко ели, широко гуляли, любили с выбором баб и даже неудачи, вроде нинкинской, вспоминали с умилением. Несчастных не было и в помине, жили в счастливом времени, в счастливейшей стране.

И я тоже был неправдоподобно счастлив, хотя и не решался тем хвастаться. Ну кого удивишь, что никогда не думал, как появлялся обед на столе и та одежда, которую носил, и книги, какие запоем читал. Кого удивит, что мне пришлось жить в селе, где вплотную протекают не одна, а две речки, кругом просторные леса, молочные туманы под луной и раздольные закаты по вечерам. А золотые окуни, попадавшие мне на переметы, а ядерные рыжики осенью по пожням...

Кого этим удивишь, если не пил и не веселился наудалую, не сходился с женщинами, не ездил по большим городам, не сорил там деньгами. Высмеют. Я ревниво оберегал свое прошлое немудреное счастье.

Повизгивают сторонние пули, у пехотинцев в траншее захлебывается станковый пулемет, давит, должно быть, огневую точку противника.

Ефим вздыхает.

— Да-а... Хоть и пустяковая жизнь, но и та хороша.

Нинкин обижается.

— Пустяко-вая-а... Ты-то что видел в своей жизни, мужик?

— Работу видел. Я с девяти лет в работе, что конь.

Нинкин не успел восторжествовать. Истеричный вопль, рвется мина! На меня сверху обрушивается что-то грузное, вминает в землю. Секунду не смею дышать. Придавивший груз заворочался, едва не ломая мне кости, жалобно помянул бога-мать, втиснулся между мной и Ефимом. Из наползшей каски серый нос и угловато-тяжелый, темный от щетины подбородок — Глухарев Сашка. Он плотно прижат ко мне, и я ощущаю, как крупно дрожит его сильное тело.

— Ты не ранен?

Сашка лишь беззвучно оскалился. Выпрастываюсь, тянусь к телефону, вызываю:

— Фиалка! Мы отключаемся.

— Об... об-божди!.. — стонет Сашка и вдруг вскипает: — В-вы! Припухаете тут, а я тащись за вами на карачках! Там снайпер бьет, тут мины... Чуликова он бережет! Чуликова, видишь ли, убить может, а меня ему не жаль, я отпетый!.. Чуликов-то в армии без году неделя, а я кадровую ломал!..

Сашка кричит, но в голосе бессилие. Я обрываю его:

— Цел? Тогда веди.

— Убьют меня, ребята! Чую, убьют...

Нинкин хохотнул.

— За мои штаны держись. Я заговоренный.

Ефим начал подыматься.

— Э-э, семи смертям не бывать, одной не миновать. Давай, парень, по обмятой дорожке. Мы за тобой по одному.

Затравленно отвернувшись, Сашка через силу зашевелился, длиннорукий, нескладно костистый, словно старая лошадь, полез наружу.

Сначала пехотная траншея отступала от нас косо, как бы нехотя, но скоро словно провалилась под землю. Мы одни, открытые противнику, ползем по полого вздымающемуся куску степи. Впереди Сашка, я за ним. Движения у Сашки судорожные, но не бестолковые, пластается, приспособляясь к каждому бугорку, каждой вмятинке, даже к растрепанным полынным кустикам. Я повторяю в точности его путь, волоку за собой разматывающуюся катушку — третью, последнюю из взятых. Похоже, нас не замечают, пули проходят стороной, мины рядом не падают.

Но пологий подъем кончается, впереди крутой ровный рыжий склон, на самом верху торчит густой бурьян. Сашка залег, не двигается. Я осторожно подползаю к нему вплотную. Он не глядит на меня, прерывисто дышит.

— Там... наши. В бурьяне, — сквозь сведенные челюсти, невнятно.

— Что ж, рванем, — говорю я. — Ждут...

— По этому месту снайпер бьет, сука.

— Хочешь, я первый?..

— Сси-ди! — цедит Сашка.

И вдруг срывается по-звериному, на четвереньках, быстро, быстро! Я не успеваю пошевелиться, как он скрывается в бурьяне. Резкий свист, фонтанчик пыли у самой заросли. Сашка цел.

Я напружиниваюсь для броска, но крепкая клешня стискивает мой сапог.

— Повремени, сынок...— голос Ефима.

— Но Сашка-то проскочил.

— А ты ляжешь... Тот там сейчас наизготовочке, пусть развеется.

Ефим придвигается, держит меня, собрав на лбу складки, вздернув кустистые соломенные брови, внимательно изучает склон. Впервые без помех вижу его глаза, они молочно-голубенькие, с острым, точечным зрачком.

— Скинь для начала метров пятнадцать кабеля, чтоб катушка не тормозила,— советует Ефим.

Послушно спускаю с катушки кабель метр за метром, стараюсь подавить нетерпение, а сам мысленно вновь и вновь пробегаю по склону.

Где-то далеко-далеко, на той, запредельной стороне враг-невидимка. Он не знает о моем существовании, но ждет меня. Он не может испытывать ко мне злобы, но собирается убить. И, кого убьет, он никогда не узнает. Все это так странно, что я никак не могу вообразить его человеком — с лицом, с телом, с руками, держащими винтовку с оптическим прицелом. Он нечто, бесплотный дух смерти. Вот только бы знать, моей или не моей?..

— Что, пора?..— спрашиваю шепотом.

Ефим помолчал, подышал и выдохнул:

— Давай!

Дремотный мир воспрянул, хищно кинулся на меня, зашумел, закружился. В центре его я, неистовый, сам на себя не похожий. Вне этого взбесившегося мира лишь путаная заросль — к ней, к ней! Врываюсь и падаю в жесткие, колючие объятия, поспешно ползу, зарываюсь все глубже и глубже.

Я так и не знаю, успел ли тот, бесплотный, послать в мою сторону пулю!

10

Сюда, наверно, когда-то сгоняли пасшийся по степи скот — на высоком взлобке продувало, не так мучали слепни и оводы. На унавоженной земле поднялся бурьян и даже торчало несколько искривившихся кустов терновника. Стояла прежде и саманная сторожка, от нее остался лишь кусок шершавой стены, затянутый все той же колючей травой.

На месте бывшей сторожки и обосновался НП, обвалившаяся стена скрывала стереотрубу на треноге. Это пока, на первое время. Смачкин и Чуликов наметили границы окопа. Предстояло пробить его в захрясшей земле, а внизу саманной стены выбрать окно в длину стереотрубы, тогда уж с той стороны сам черт не обнаружит наблюдательный пункт.

Все складывалось благополучно — Ефим с Нинкиным проскочили вслед за мной, я подключил телефон, Фиалка отозвалась. Смачкин, сбросивший с себя каску и автомат, пилотка на затылке, гимнастерка расстегнута, лицо запаренное, отрывисто командовал:

— Чуликов, к телефону за трубку! Связистам рыть окоп!..— И вдруг спохватился: — А лопата?.. Глухарев, где штыковая лопата?..

Оказывается, посылая за нами Сашку, Смачкин наказал завернуть к пехотинцам, выпросить у них большую лопату, лучше две. Пробивать окоп нужно под стеной, а там утоптаный пол бывшей сторожки, он как железный, малыми лопатками не пробьешь.

Сашка, сцепив мощные челюсти, тускло глядя мимо Смачкина, выдавил скупое:

— Минометный обстрел...

— Ну и что?

— Не пробраться было к пехоте.

— Ты пробовал?

Поигрывая желваками, Сашка молчал. Смачкин разглядывал его выбеленными глазами.

— Не первый год в армии, Глухарев, знаешь, за невыполнение приказа в боевой обстановке наказание одно...

— Стреляйте. Так даже лучше, терпеть не надо.

И снова Смачкин внимательно ощупывал сутулящегося Сашку стекляннным взглядом.

— Вот как бывает — дохлую ворону за орла принимали... Нинкин!

— Я, товарищ лейтенант!

— Добудешь?

— Попробую, товарищ лейтенант!

— А если откажут: самим, мол, надо?..

— Украду, товарищ лейтенант!

— Иди, Глухарев, землю долбить. Выручай, Нинкин.

На НП началась работа. Чуликов завладел телефоном, Смачкин стереотрубой, переговариваются, похоже, даже не соглашаются друг с другом. Ай да Чуликов! Спорит, и лейтенант не ставит его на место. Спор кончается тем, что они меняются местами — Чуликов прилипает к стереотрубе, а Смачкин ведет озабоченные разговоры с огневой... Связь есть! Пока есть.

Согнувшийся Сашка ожесточенно бьет землю, крупный, угловатый, прячет лицо, не подымает головы, гимнастерка мокра на лопатках. Мы с Ефимом ковыряем без азарта — пол сторожки крепче камня, нужна кирка, чтоб взломать его, ну хотя бы штыковая лопата. Нинкин, если повезет, обернется за полчаса, никак не раньше. Но с тех пор, как он ушел, минут двадцать уже утекло.

Громкий голос Чуликова заставляет нас с Ефимом переглянуть — начали! Чуликов снова у телефона, выкрикивает заклинания. Для нас они непонятная тарабарщина: квадрат, азимут, прицел... все пересыпано цифрами. Но на огневой у пушек началась горячка... Только бы не подвела связь! Наша линия ненадежна...

Сашка продолжает долбить с глухой яростью, а мы бросаем лопатки, приподымаемся, тянем шеи, вглядываемся в степную рыжую даль, жадно ждем.

Степь полого скатывается к овражку, неровно рваному, капризно изгибчивому, заросшему густо кустарником и низенькими корявыми деревцами. Должно быть, это и есть та самая, рассекающая страну Линия Фронта. У нас она выглядит так, в других местах, разумеется, иначе. За овражно-кустарниковой Линией степь снова нехотя ползет вверх до мглистого горизонта. И там она спеченно ржава, неохватно пуста, однако я-то знаю, какой обманчиво безжизненной может казаться степь. Где-то в ней скрыты оцетинившиеся окопы, наведенные на нас пушки, минометные батареи, танки... Смачкин с Чуликовым что-то разглядели, иначе какой смысл им передавать заклинания.

— Летят званые!.. — сообщает Ефим.

Через нас в знойно-синем воздухе с угрожающим шорохом потекла невидимая река. В великую игру вступили и наши пушки. А я вместе со Смачкиным, Чуликовым, Ефимом, блуждающим на стороне Нинкиным и горбачущимся над землей Сашкой начал свою войну.

Посреди потусторонней степи беззвучно вызрели грязно-белые грибы-дождевики — один, другой... много! Беглый огонь едва ли не всех наших батарей. Понеслись сглаженные расстоянием пережатые взрывы.

Смачкин, скорей озабоченный, чем торжествующий, оторвался от бинокля, Чуликов, приподнявшийся от телефона, снова взялся за трубку. Началось все сначала — переговоры и заклинания. И новый широкий поток над нами... Только бы не подвела линия, только бы не услышать: «Связи нет!»

Согнувшись, долбит землю взмокший Сашка Глухарев, никого не видит, ни на что не обращает внимания. Принимаемся за работу и мы с Ефимом. А Нинкина все нет. Что-то долго он несет лопату.

— Пожалуй, я сползаю...— говорю я Ефиму.

— Куда?

— Взгляну на склон. Не застрял ли там Нинкин.

Ефим хмурится, лезет за кисетом, не спеша сворачивает сигарку.

— Взгляни, только не нарывайся.

Продираюсь ползком в колючем бурьяне, походя поправляю кабель. Он местами висит на спутанной траве — ухнет рядом снаряд, даже не осколком, а взрывной волной может порвать. Эта нехитрая работа отвлекает меня от беспокойного предчувствия...

Кустики бурьяна редуют, земля подается на уклон, осторожно раздвигаю высохшие плети и... взгляд упирается в каску.

Он не дотянул двух шагов, всего двух! Он лежал вдоль кабеля, откнувшись лицом в рыжую проплешину среди чахлой травки, рука отброшена в сторону на черенок лопаты. Гимнастерка коробом на спине от черной крови, от этого он кажется горбатым. Каской ко мне — рукой дотянись. Встреча.

— Нин-кин...— без надежды зову я.

Но откинутая рука землиста, ногти на ней уже синие.

А небо ослепительно яростное, под ним усталая от жары степь. День уже перевалил за половину, но еще далеко до заката. Мы вместе с ним встречали восход солнца. Первый...

Только жестоким усилием заставляю себя продвинуться вперед, тянусь к лопате. Непреодолимо содрогание живой плоти перед зримой смертью...

Никто не обратил внимания на мое возвращение. Сашка Глухарев с прежним ожесточением стучал саперной лопаткой. Ефим сидел за телефоном. Смачкин и Чуликов были в мыле, уже сами не хватались за трубку, а выкрикивали со стороны заклинания, Ефим повторял... Сейчас гул в небе не прекращался, тупые взрывы утрамбовывали степь за овражной линией. Некому удивляться, что я держу в руках штыковую лопату и что Нинкина рядом нет.

Нинкину не везет даже после смерти — запоздало узнают, между делом легко переживут. Остаются в памяти павшие герои, но их единицы, а война тысячами тысяч уносит незаметных. Кто потом вспомнит, что рядовой связист Нинкин погиб при исполнении задания, которое никак нельзя назвать особо важным или даже значительным — достань лопату?

Я торчу с этой лопатой, добытой ценой жизни. Сашке удалось расковырять лишь угол окопа, НП не оборудовано.

— Вот...— протянул я Сашке.

Он с трудом поднял голову, уставился на лопату, медленно повел глазами в одну сторону, в другую, и на грязной мослоковатой физиономии проступил ужас.

— Да,— сказал я мстительно,— лежит на склоне.

Сказал и пожалел. Сашка отвернулся, плечи обвалились, широкая, пятнисто-мокрая спина обмякла. Он хотел бы, да не может быть другим, врожденный порок сильней его. Я ударил ниже пояса.

— Ладно уж, передохни, я порою.

— Т-ты!! — Сашка развернулся, кинулся на меня, выхватил лопату.— Ид-ди ты к...— зло, взახлеб выругался.

В это время раздалось то, чего я давно ждал:

— Связи нет!

Смачкин повернул ко мне опаленно-медное лицо.

— Вот так, сержант. Двигай!

Чуликов расстегнул ремень, в гимнастерке распояской блаженно растянулся под треногой.

— Будем загорать, товарищ лейтенант... Что там о снарядах говорили?

Пристраиваясь к Чуликову, Смачкин ворчал:

— Ни черта не понял. На полуслове оборвалось... Везут... Почему везут?.. Не могли же весь запас выпустить... Да потеснись ты! Не по чину развалился...

До чего же уютно на НП, здесь даже пули вроде бы поют высоко. У самой передовой, а война стороной обтекает. Так не хочется отрываться от своих, но связисту на фронте часто приходится воевать в одиночку.

Еще раз пришлось встретиться с Нинкиным. Мимо него я скатился вниз, счастливо не замеченный снайпером. И сразу же забыл... Да, забыл Нинкина и потом почти не вспоминал о нем. Многих пришлось мне оставить в войну — на обочинах дорог и в развороченных окопах, у речных переправ и на разбитых улицах Сталинграда, на зеленых лугах под малоизвестным местечком Батрацкая Дача. Нинкин из них был вовсе не самый мне близкий. И только спустя несколько десятилетий он стал всплывать в памяти каждый раз, когда мне приходилось останавливаться у могилы Неизвестного солдата. Он, первый из мною потерянных — Нинкин.

11

Кабель тянется через степь, несложное хозяйство, оно вышло из строя, и я отвечаю за него. Кабель тянется через степь, уводит меня в тыл.

Я прополз на животе каких-нибудь триста метров и понял, что миновал опасную зону, поднялся на ноги. Меня уже не увидят из немецких окопов, ни снайпер, ни пулеметчик не возьмут на мушку, может настичь лишь шальная пуля, а от шальной прятаться бессмысленно. Никто мне не говорил, где тот рубеж опасного и безопасного, я сам его определил. И никто не учил меня, как угадывать по свисту мины, далеко она упадет или близко. Ни в одном уставе этого не записано. Но я угадываю, рождается свист, я иду, свист нарастает, не знаю, где именно взорвется мина, знаю только, не рядом со мной. Слышу взрыв и даже не оборачиваюсь в его сторону. Но вот свист с некоторым давлением, не спешу падать, он еще должен показать себя... Показывает, близко не близко, однако на всякий случай припадаю к земле, мина коварна, ее осколки разносятся по поверхности, поражают издали. Снаряд бьет сильней, но не столь опасен, выносит вверх и земляное крошево, и осколки. Иногда нарастающий свист резко обрывается — немедленно падай, вжимайся, только это спасет тебя от близкого взрыва.

Всего несколько часов я на войне, но уже мною себя обстрелянным солдатом, настолько, что начинаю верить в свою неуязвимость. Особенно здесь, отступая от передовой. Здесь визжат пули, рвутся мины и снаряды, но для меня это уже тыл.

Вот наконец-то и памятная дорога. Пустынно и тихо, кругом безжизненная степь, накаленная за долгий день солнцем, как гигантская сковорода. Кажется, давным-давно мы были тут, мы, новички, сгибавшиеся от страха. На дороге рвались снаряды, и мы ничком лежали в стороне, не надеясь остаться в живых. А с каким ужасом я провожал бату Ефима, возвращающегося на страшную дорогу, не надеясь увидеть его в живых. Смешно теперь детский перепуг. И рваные воронки у дороги сейчас ничуть не портят дремотной картины.

Мое чутье меня не обмануло — порыв линии был здесь. На укатанной колее следы гусениц — прошел танк, зацепил кабель. Секундное дело стянуть концы кабеля, срастить их с перехлестом. Если дальше кабель в порядке, то связь уже есть, пушки могут стрелять.

Но нужно перекопать дорогу, загнать кабель в землю, иначе он при любой оказии будет рваться, особенно ночью, когда тут наверняка начнется оживленное движение. Я вынимаю из чехла лопатку, опускаю на колени...

Дорога пристреляна. С какого-то далекого немецкого НП вооруженные биноклями и стереотрубами наблюдатели наверняка и сейчас следят за ней. Но я теперь достаточно прозорлив, чтоб страшиться. Навряд ли батареи откроют огонь по одному человеку, но даже если и откроют... Как только завоют снаряды, я перемахну в кювет, осколки в нем не достанут, а прямое попадание едва ли...

Земля дороги красна, как кирпич, как кирпич, тверда, врубаюсь в нее, выбиваю кусочек по кусочку, не поддается. А степь — пышущее пекло, и каска раскалена, и гимнастерка жестяно ломка от соли, я даже разучился потеть, вся влага из меня выжата. Хочу пить, давно изнемогаю. Котелок воды — мечта о невозможном. Бью, бью кирпичную землю, кирпичного цвета пятна плывут перед глазами... Вот оно, начало моих воинских подвигов!

За все время на фронте я ни разу не был в рукопашной, всего раз или два по случаю выстрелил в сторону противника, наверняка никого не убил, зато вырыл множество землянок и окопов, таскал пудовые катушки и еще более тяжелые упаковки питания радиостанции, прополз на животе несчитанные сотни километров под взрывами мин и снарядов, под пулеметным и автоматным огнем, изнывал от жары, коченел от холода, промокал до костей под осенними дождями, страдал от жажды и голода, не смыкал глаз по неделе, считал счастливым блаженством пятиминутный отдых в походе. Война для меня, маменькиного сынка, неусердного школьника, лоботряса и белоручки, была прежде всего тяжелый и рискованный труд, труд до изнеможения, труд рядом со смертью.

И никогда не ведал, что преподнесет мне новая минута...

Из дальнего угла безжалостно знойного, чистого неба поплыл размеренно качающийся звук. Я еще не успел обратить на него внимания, как бешено заквакали зенитки — ближе, ближе, все яростнее, все осатанелей, пятная синеву быстро отцветающими одуванчиками. Сначала разглядел я лишь легкие прорезы в небе, неровный пунктир. Он рос, ширился, прозрачные прорезы на небосводе становились материальными, обретали форму. Завороженный, я глядел и не смел шевельнуться. Качающийся моторный гул крепчал, в нем проступало утробно-басовитое, угрожающее. Самолеты двигались прямо на меня медленно, уверенно, прямо, не обращая внимания на одуванчиковую метель вокруг... Прямо на меня! Ошибки быть не могло. И уже различались линейные кресты на крыльях.

С усилием на секунду оторвался, оглянулся на залитый солнцем степной мир. Обреченный мир. Никого в нем нет. Никого, кроме меня!

Я сорвался с дороги, дальше, дальше в сторону, но некуда спрятаться — плоская земля доверчиво распахнута враждебному небу. Но, кроме нее, родной земли, нет спасения, и я упал, однако краем глаза воровски выглядывал — не пройдут ли мимо, не пренебрегут ли мной, ничтожным? Нет, не блажь, не сон, прямо надо мной заваливался на бок передний самолет, неестественно громадный, с отточенно серебряными на солнце крыльями. Он заваливался, и водопадно-гневный рев обрушился на меня. Я уткнулся лицом в душную колючую полынь...

А в ней, полыни, свой покойный травяной мир, своя потаенная жизнь — по сухой былинке мечтательно полз жучок, мелкий, но хвастливо-нарядный, позолоченно-черный.

Вверху же творилось невероятное — надсадный рев, истошное завывание, жуткий шабаш злых машин. Не вижу их, не хочу видеть, но не могу не слышать. Одна тень, другая скользнули по мне. Надо мной! Над моею открытой спиной! Велико мое тело, и земля не пускает

его в себя. Ползет перед глазами жучок, позолоченный монашек, никуда не торопится, ему нет дела до шабаша в небе. Он мал! Он скрыт! Не собирается гибнуть вместе со мной...

Вот в рыке и вое проступил невнятный слабенький свист. Она! Сброшена... Мой конец. Тонкий свист оборвется — меня не будет.

С грохотом колыхнулась земля и не успела встать на место, как новый сотрясающий грохот. Все кругом стало ломаться, раскалываться, биться в истерике, свет померк, а кусок степи, обнятый мною, корчился в конвульсии. На мгновение проскальзывало затишье, зыбкое, как солнечный зайчик. Оно не успевало родить надежды — снова вой, обвальный грохот, конвульсии земли. Еще, еще, еще!.. Хватит! Больше уже невозможно! Но еще, еще... Я ослеп, я оглох, я перестал себя чувствовать, смирился с концом.

Затишье, столь же неверное, как и прежде. Грохот, не столь давящий, удаленный. И пауза. Она тянется и тянется. Лишь перекатное урчание моторов да щемящий звон в ушах. Кусок обнятой мною степи снова стал земной твердью. А в потаенном травяном мире недоуменно застыл на полпути знакомый позолоченный жучок, вслушивается, поводит усиками. Он явно жив... Похоже, и я...

Долго лежу в изнеможении, отдыхаю в заповедном мирке, успеваю даже провонять золоченого монашка до вершины былинки, тихо порадоваться его победе. Наконец набираюсь сил, приподымаюсь на подламывающихся руках...

Я ждал — мир разрушен, верил — увижу вывернутую наизнанку землю, где чудом уцелел лишь жалкий клочок, который я по-сыновьему прикрывал своим телом. Милость спасения выпала нам двоим — жучку-монашку и мне.

Но, на удивление, мир во все стороны был цел, даже ни единой новой воронки рядом — раскаленная, с плывущим вверх волнистым воздухом степь, дорога, а на ней, как утверждение покоя, забытая мною саперная лопатка. Где же тогда происходило светопреставление? Да было ли оно? Не пригрезилось ли мне в страшном кошмаре?

Я добросовестно закончил свою работу, упрятал в землю кабель. Вернувшийся к жизни, я снова почувствовал изнурительность жары и мучительную жажду... Благодатно прохладный котелок воды! Но придется терпеть до огневой. Тем более что с нее никто не вышел мне навстречу, а должны бы выслать. Двинулся дальше по кабелю.

Еще не сделав и сотни шагов, я прозрел, где именно было светопреставление!

Немецкие самолеты бомбили знакомую минометную батарею.

В пологой лощинке метались, возбужденно и зло кричали солдаты, ставили опрокинутые минометы, перетаскивали и складывали в штабеля ящики, лихорадочно, в несколько лопат раскапывали заваленные щели. И все это вокруг величественно безобразной, глыбаторванной глубокой воронки. Несколько зияющих воронок по склонам. У одной в стремительно бегущей позе убитый, зеленая гимнастерка перехлестнута портупеей, должно быть, командир.

Ближе ко мне заросший рыжей щетиной санинструктор обрабатывал раненого. Болтался распоротый, тяжелый от крови рукав, вызывающе сияли белые бинты на черной руке. Санинструктор кричал с неестественным надрывом:

— Кучкин! А Кучкин! Слышишь меня?

Раненый Кучкин мотал пыльной, коротко стриженной головой, не отвечал.

— Оклемаешься, Кучкин! Ничего, что пришибло! Оклемаешься, брат! А рана твоя пустяковая, Кучкин!.. Шевельни пальцами! Шевельни, говорю!.. Во! Ше-ве-лят-ся!!

Я не смел приблизиться. В моей помощи тут никто не нуждался, справлялись сами. И какой я помощник, до сих пор чувствую слабость в коленках. А еще считал себя обстрелянным — неуязвим, не боюсь.

Санинструктор суетился и почти восторженно орал над пыльной макушкой раненого:

— В санбате живо поправят, будешь как новенький! И снова таскай плиту, Кучкин!..

Возле раненого стоял котелок с водой, почти полный. Нет, я не решился попросить — счастливый у потерпевшего, здоровый у раненого. Ну нет!

А ведь здесь не было светопреставления. Погром — да. Но люди продолжали деятельно жить. Кто знает, сколь много может вынести человек?..

Я уходил, а надрывный крик санинструктора провожал меня:

— Кучкин! А Кучкин! Повезло тебе, братец! Месяц прокантуешься. Может, и два!..

12

На огневой все смешалось. Орудийные расчеты на руках — р-раз-два, взяли — выкатывали с позиций на открытые места пушки, цепляли к ним зарядные ящики. Ездовые, мешая друг другу, подавали задом лошадей, лошади сбивались в кучу, путались в построюках. Запаренные командиры не по-уставному кричали на орудийщиков, орудийщики на ездовых, ездовые на коней — крепкие выражения, толкотня, хлопанье кнутов, ржание, острый запах конского пота. Не отступление, нет, и не паника перед противником, срочный приказ — сниматься на новое место, ближе к передовой.

Словно из-под земли вырос Зычко, охомутан шинельной скаткой, карабин на плече, вещмешок за спиной — готов к походу, — скуластое лицо бронзово и непроницаемо.

— Бачишь оцей кабель? По нему до хозчасти... И швыдче, швыдче! Возьмешь две полные катушки тай разом обратно. Отсюда потянешь связь к новой огневой. Чув?.. Повторить приказание!

— А НП?..

— Яки тоби НП? Пушки сымаются, НП тоже.

— Как же они связь смотают? Нинкин убит. Старик Ефим с тремя катушками надорвется.

Зычко цепко взял меня за пуговицу, притянул вплотную, жарко дыхнул.

— О себе гребтуй, хлопец. Война не маты ридна. Шо був добреньким, забудь. Спасибочки говори — не назад гоню к пулям, а в тыл, от пуль подале. Минутку да выгадаешь.

— Может, сам сходишь?.. В тыл-то, от пуль подальше. А я навстречу бате связь мотать стану.

— Па-ав-та-рить приказание, сержант Тенков!

— Где здесь напиться?

— В хозчасти напоят.

В тыл, подальше от пуль. Хотя какой уж тыл — хозчасть рядом. рукой подать. А пуль здесь хватает, воздух стонет от них. Пожар на передовой, похоже, разгорается не на шутку.

Развернутой неровной цепью идет по степи мне навстречу часть пополнения. Свеженькие. Они на добрых полдня позже нас вылезли из теплушек, только-только приближаются к фронту.

Впереди, заломив утопающую в каске голову, бойцовски выставив узкую грудь, вышагивает лейтенант. Он весь новенький, как только что отчеканенный двугривенный. Гимнастерка. ремень, кобура пистолета, кирзовые голенища сапог — все нескладно топорщится, все не притерлось. Видать, сразу бросили из училища сюда, ничуть не старше меня годами. На круглой свежей, еще не тронутой степным загаром физиономии так и впечатано: «Видите, мне все нипочем!» Слнш

ком отчетливо, слишком наглядно, чтобы быть правдой. Наверняка жадно ловит посвист каждой пули, гадает, какая ближе, какая дальше, несет в себе не тающую глыбу страха, но грудь вперед, молодцевато несет свое «мне все нипочем». Изредка, шевельнув плечиками, обращивается, петушиным голосом отечески подбадривает:

— Вперед! Вперед! Не отставать, братцы!

За ним солдаты, пожилые и молодые, на одно лицо, усталые.

Дюжий, глубоко сутулящийся парень натужно выступает на полусогнутых. Он почему-то ошарашенно глядит на меня и неожиданно опускается на корточки. Крупные, раздавленные работой руки с силой сжимают между колен винтовку, конец штыка замысловато выписывает в воздухе нехитрое откровение. Из-под пузырящейся каски синяя тоска усталых глаз — доверчиво мне в зрачки, в дно души. И тихий, с придыхом, недоуменный, страдающий вопрос:

— И зачем?.. Ну, зачем люди воюют? А?..

Я, старожил фронта, обремененный шестичасовым — не менее! — опытом, побывавший на передовой, на всякий манер обстрелянный, я выпрямляюсь, чтоб не показать усталости, величаво марширую мимо, не снисхожу до ответа.

Да он и не ждал его...

Война есть, никуда не денешься, размышлять о ней поздно. Умей бороться — да, с ней, да, против смерти, да, за жизнь.

Нет, не тогда в моей зеленой, не созревшей до осмысления голове родились такие слова. Слова появились теперь, спустя с лишком сорок лет. Но навряд ли они и сейчас передают хотя бы приблизительно тот биологический иммунитет против отчаяния, возникший у меня в первые фронтовые часы. Он, иммунитет, оказался куда действеннее сознания. Мое сознание и до сих пор пасует перед роковым вопросом, вырвавшимся у встречного парня с винтовкой...

13

Нагруженный катушками, я вернулся на покинутую огневую, там меня ждал Ефим. Он потемнел, усох, стал морщинистее, брови выгорели, выглядели седыми. Казалось, так давно расстались, что у бати наступила глубокая старость — как есть дед, прокопченный, жилистый и еще более замкнуто мудрый. Но мы оба живы и снова вместе.

Время, в которое мы теперь окунулись, не схоже с обычным, здесь минуты равны мирным неделям, часы — годам. А потому и встречи необычны, впечатляющи — ну-ка, изменились, но целы, могли б и не свидеться, уже подарок.

— Как ты там с тремя катушками справился?

— Справился. Я семижильный... Пошли, что ль?

Косматое солнце перевалило на сторону немца, висело над степью и уже не палило с прежней силой. Через степь из края в край гремющий поток, крутая кипень выстрелов и скачущее эхо взрывов. В небе, не затихая, шелестят снаряды — к нам, к нам, партия за партией, без отдыха.

Мы ползем по ровному полю, подминая под себя спелые хлеба, окруженные сатанинскими всплесками рвущихся пуль. В гуще пшеницы разрывные пули не столь и страшны, они больше пугают, действуют на нервы, для них даже встречная соломинка, тем более нали-той колос, уже препятствие — рвутся, встречая их на пути. Но немцы-то били не только разрывными... Мы ползли, тянули за собой кабель, жались к бугристой земле, не смели поднять головы. Противник разошелся к вечеру.

Наши пушки встали на прямую наводку. Стать на прямую — значит, бросить вызов: играем в открытую! Кругом равнина, впереди

лиловые дали. Орудийные расчеты торопливо работали лопатами, бросали красную глину, вкапывали пушки. У наиболее усердных над пшеницей торчат лишь стволы с настороженными пламегасителями.

Но здесь что-то случилось... Идут работы, мелькают лопаты, растут рыжие отвалы — и что-то замороженное, сковывающее в воздухе. Нет привычной в таких случаях суеты, никто не бежит, никто не кричит, голосисто не командует, молчаливый, сурово-сосредоточенный азарт.

А в стороне, у одной из пушек, за невысокой насыпью, в углублении, тесной кучкой батарейный комсостав во главе с командиром батареи старшим лейтенантом Звонцовым всматриваются в окрашенную косыми лучами солнца немецкую сторону, жадно курят, тихо переговариваются. Да и солдаты, те, кто не держит лопату, повыползали вперед, тянут шеи.

— Что там? — спросил я Зычко.

У Зычко уже отрыта по-уставному глубокая щель, в ней телефон, он сам на дежурстве у трубки, выкликает цветочки — Ландыш, Тюльпан, Ромашка, батареи нашего дивизиона, среди них проросла незнакомая мне Береза, должно быть, пехотная часть, которую мы поддерживаем. Все-таки Зычко расторопен — только что заняли позиции, а он уже со всеми связан, вот и мы с Ефимом принесли ему конец от Жита, хозяйственников дивизиона.

Зычко ответил мне не сразу, скупое и сурово:

— Танки...

— Немецкие?

— Нет, дядины.

И я вскинулся, Зычко не посмел остановить меня начальническим окриком.

Возле командирской кучки — почтительно в стороне и так, чтобы быть под рукой — сидит на корточках вестовой Звонцова Галушко. Я пристраиваюсь к нему.

Идут танки... Я ждал, увижу напористый марш, поднятую пыль, сверкающие гусеницы, грозно качающиеся башни с наведенными орудиями, но впереди унылая бескрайняя степь, накаленно ржавая, с тенистыми западками. Странно: путаное кружево выстрелов во всю ширь, шорох летящих снарядов вверху, перекатно прыгающие взрывы и полный покой там... у них, в глубине. Вспухает одинокий взрыв, ватно-нечистый ком дыма вяло валится на сторону.

У Галушко острое птичье лицо, тонкие губы сплюснуты в ниточку, ноздри поигрывают, узкие глаза блестят. Он видит, я нет.

— Где? — выдыхаю я.

— Да вон высыпали... — кривится Галушко. — Еще те поганочки.

Пыль, башни, наведенные пушки... Посреди степи, словно пеньки вразброс на поляночке. И это танки? Греются на солнышке, не двигаются. Пыль, башни... Как они далеко от нас!.. Я отметил для себя самый крайний пенек на солнечной полянке и стал считать: один, два, три... После десятка сбился. Решил считать сначала, с крайнего. И не нашел его на месте — «пенек» незаметно переместился и чуточку подрос. Они двигались и исподтишка росли.

— Ждем, чтоб приблизились? — спросил я.

— Ждем, чтоб провалились к чертовой матери.

— Раз идут в открытую, встретим.

— Чем?

И я вспомнил разговор на НП.

— Снарядов до сих пор нет?

— Снарядов полно. Шрапнельные... Фугасные везут. Улита едет, когда-то будет. К ночи?.. Так танки раньше здесь будут.

Мы молчим. Даже мне понятно, что шрапнель для танков — что горох. Молчим, глядим в степь. Танки двигаются лениво-лениво, но двигаются, не стоят. А солнце еще не село, не скоро опустится ночь...

— Эх-ма! — вздыхает Галушко. — Шрапнелью запаслись. Шрапнель в гражданскую работала, теперь броню проломи.

В командирской группе оживление, передают друг другу бинокль, вглядываются, перекидываются скупыми фразами:

— Кто там пылит?

— Мотоциклисты, похоже.

— Курочки с цыплятками...

Оторвались от лопат даже оружейщики.

И я наконец улавливаю розовый клубочек пыли у переднего танка — «с цыплятками»...

— Товарищ старший лейтенант, разрешите!..

Над командиром батареи Звонцовым нависает командир орудия Феоктистов. Звонцов мешковат, приземист, гражданский животик выплзает из-под ремня — пришел из запаса, был где-то старшим бухгалтером. У Феоктистова на мощном теле не бойцовски курносая, бабьи мягкая физиономия. Он из кадровых, считается лучшим наводчиком дивизиона.

— Разрешите, накормлю шрапнелью!

Звонцов медлит, уставившись в даль, качает каской.

— Откроем себя, Феоктистов. По нам ударят, а ответить нечем. Лучше помалкивать.

— Одним снарядом, товарищ старший лейтенант... Всего одним! Обещаю накрыть.

Молчание. На Звонцова со всех сторон выжидающие взгляды. А пыльное облачко в степи вытягивается, распухает, озарясь багрянцем. Мотоциклистов не группа, раз-два, и обчелся, а целая колонна.

— Один выстрел засечь не успеют, товарищ старший лейтенант!

— Ладно! Один снаряд, только один!

Орудийный расчет без команды бросает лопаты, деловито становится к пушке. Не пригибаясь, широким шагом, вздрагивая от нетерпения, приближается Феоктистов, на ходу роняя приказания. Жарко вспыхивает в руках заряжающего медная гильза, проглатывается затвором. Феоктистов припадает к прицелу, долго колдует...

А в глубине степи красный стелющийся дымок, словно занимающийся пожар.

Изрытый и вытопанный кусок поля за орудийными распорками напоминает немую сцену из «Ревизора» — кто в какой позе с раскрытым ртом. Ждут выстрела.

Феоктистов распрямляется, негромко командует:

— Аг-гонь!

Пушка содрогается. Выстрел не успевает отзвучать, взметается дружный вопль. В степи над пожарищем нависает сизое облачко, расплзается... Багряная змейка пыли круто сворачивается, ползет обратно, ныряет за ближайший танк, оставляя после себя розовое марево.

— Умы!

— Одним снарядом!

— Тютелька в тютельку...

— Ай, мастер парень!

А танки равнодушно ползут. Я не из зорких, но уже начинаю различать их башни. В бинокль, должно быть, видят и наведенные на нас орудия. Восторженный говорок быстро вянет, оружейщики снова берутся за лопаты.

С визгом распарывается небо, в поле за нами взмывает вверх поток земли, от грохота закладывает уши.

— По укры-ы!..

Не командирски тонкий голос Звонцова тонет в новом, опрокидывающем мир взрыве. Поднявшееся на дыбы поле на секунду закрывает солнце. И, не давая вздохнуть, надвигается сверлящий вой. Я падаю, но успеваю заметить, как оживает пушка Феоктистова, вскидывает стволом, словно норовистый конь... А дальше уже ни видеть, ни слышать, ни ощущать ничего не могу. Где-то близко надо мной небо перемещивается с черствой глиной. Изредка куцый просвет в сознании, и тогда ливневый ропот падающего земляного крошева, зловещее шипение блуждающих вверху осколков, едкий газ, забивающий горло, деревянная голова... А затем вновь тупой толчок земли в грудь, мешанина во вселенной, небытие...

Очередной просвет затянулся. Не верю блаженной тишине и вжимаюсь. На каску, на спину сыплется земля, но уже не рокочущим ливнем, реденько. Зашуршал, зашепелявил воздух — снаряды не к нам, а над нами, дальше в тыл, значит, нас считают достаточно наказанными, решили оставить в покое. Боязливо подымаю голову, кручу ею, передергиваю плечами, шевелю одной ногой, другой, проверяю себя — цел ли? Вроде цел, нигде ничего, вот только голова деревянная.

Вокруг меня восстание из мертвых — возятся, отряхиваются, лезут из щелей, диковато оглядываются. Рядом, как из преисподней, вырастает каска, пепельное лицо со знакомыми чертами — Зычко. Каким-то манером я оказался у его щели. Знать бы, свалился б в гости, пережидали б судный час в компании, даже если б это и не нравилось хозяину. Зычко тоже очумело отряхивается, сердито прокашливается.

И уже возникают первые голоса:

— Всего раз плюнули, а его, гада, прорвало.

— Пошли жалобу, чтоб повежливей...

Живы. Право, чудо.

И...

— Лямзина!.. Санинструктора Лямзина!.. Феоктистов ранен!

Орудийщики ползком и на четвереньках обступают лежащего Феоктистова. Пушка с задраным стволом завалилась на бок. Сгибаясь и прихрамывая, спешит командир батареи Звонцов без каски и пилотки, с оголенной лысиной.

Зычко отмыкает уста:

— Разнесут нас здесь. Живы не выберемся.

Он впервые попадает в переплет, для меня уже и такое не в новинку. Хотя, что и говорить, веселого мало — в чистом поле, на виду у противника, снарядов нет. Спаси может только ночь, а солнце пока что висит над землей, не скоро еще сядет...

— Танки скрылись! — крик то ли удивленный, то ли радостный.

С усилием распрямляюсь во весь рост, вглядываюсь в немецкую сторону. Совсем недавно различал уже их башни, сейчас рдеющая степь пуста и мотоциклы тоже не пылят. Из-под земли выползли, в землю ушли. Но где-то здесь, неподалеку, неизвестно, двигаются ли тайком или выжидают до времени?

— Не маячь. Хочешь, чтоб снова набросали? — цедит Зычко. Он по грудки в земле и, похоже, не собирается вылезать.

Слышу за спиной тяжелое дыхание. Появляется Звонцов, по-прежнему без пилотки, на лысине царапина. Отдуваясь, присаживается на корточки, провесив животик, житейски доброе, простовато полное лицо озобочено, и что-то потустороннее в нем — нас не видит, вглядывается в себя.

— Свяжитесь с хоззвондом. Пусть срочно высылают подводу... Вывезти Феоктистова. — Выныривает из себя, строго глядит на нас, объявляет: — В грудь осколочное!

Зычко ныряет в щель, хватается за трубку.

— Жито! Жито! Я Фиалка!.. Не тебя зовут! Жито прошу... Жито! Жито!.. Не отвечает Жито, товарищ старший лейтенант.

— Наладить! Чтоб подвода была! Срочно!.. Ранение тяжелое!
Каска Зычко медленно вырастает из земли. Из-под каски на меня холодные совиные глаза.

— Сержант Тенков!..— приказным, с гнусавинкой голосом.

Господи! Всему есть мера. Весь день он торчал у телефона, бегали, ползали, таскали катушки мы. Война не мать родная, да! И он командир — тоже да. Но нельзя же забывать, что командуешь людьми. Чуть-чуть раздели с ними непосильное. Подмени на один раз, если есть совесть... Совиные глаза... «О себе гребутый... Шо був добреньким, забудь!» Я вдруг почувствовал себя неподъемно тяжелым, словно весь из железа. И заржавел — не шевельнуть ни рукой, ни ногой.

— Голубчик, пожалуйста, побыстрей,— голос Звонцова никак не приказной.— Постарайся, голубчик... В грудь ранен...

Не могу не откликнуться.

— Есть постараться, товарищ старший лейтенант!

А Зычко опускается в щель, слышно, как озабоченно продувает там трубку.

14

Связь прекратилась после артналета, значит, порыв должен быть где-то рядом, но я ползу и ползу, а кабель цел, уводит меня от своих. Пулеметные очереди с треском рвут воздух, мир кругом распаривается по швам, такое ощущение, что вот-вот образуют прорехи и в них проглянет мир иной, голубой и прохладный, не похожий на наш сумасшедший.

Миновал бывшую огневую. Ископанная, истоптанная ложбина, валяются разбитые ящики от снарядов, пустые артиллерийские гильзы, оставленные впопыхах противогазные сумки, обтирочная ветошь — заброшенность. После нее двигаюсь уже не ползком, однако и не распрямляюсь во весь рост, перебежками, со скачками и нырками. Противник не унимается, похоже, сатанится еще больше. В воздухе звучит незатаихающая струна, заряженный пулями воздух ноет.

Скоро и овражек, где прячется наш хозяйственный тыл — ряды повозок с поднятыми дышлами и оглоблями, кони, привязанные к грядкам, лениво слоняющиеся повозочные, дымит на отшибе полевая кухня. Все очень смахивает на воскресный рынок в селе — возле войны кусочек заповедного мира. В прошлый раз я даже позавидовал: живут же люди! Скоро... Но кабель цел, почему же нет связи?

Это сразу выяснилось, как только я оказался на краю овражка. Первое, что увидел, повозочный на коленях. Скатывал солдатик на земле шинель и не докатал, уткнулся головой в скатку, замер в молитвенной позе. А рядом запряженная в повозку лохматая лошаденка, распустив губы, понуро дремлет в оглоблях. За ней же без криков, воплей, матерщины в смятенной подавленности идет работа. Солдаты хоззвода, «стариковская команда», бестолково тычутся, волочат мешки, бидоны, ящики кидают в повозки, нахлестывают лошадей, отъезжают, цепляются в тесноте. В самой середине сутолоки задранное колесо опрокинутой двуколки. Мечется багроволицый старшина, пухлая спина в ярко-зеленой комсоставской гимнастерке туго стянута портупеей, из породистых, гроза подчиненных, но и он не кричит, а только налетает то на одного, то на другого «старичка», шипит. И по оврагу разбрызганы черные воронки...

Мне жутко от глухой паники тыловой «стариковской команды», даже старшина здесь потерял голос. Им не до меня, не до кого на свете, кричи, требуй — никто не услышит, надо действовать самому. Раненный в грудь Феоктистов лежит на огневой...

Повозочный в молитвенной позе, дремлющая вислогубая лошадь... Их все забыли, они в стороне от паники. Я огибаю убитого, карабкаюсь на повозку. Там несколько лопат и туго набитый вещмешок

хозяина. Торопливо выбрасываю и мешок и лопаты, хватаюсь за вожжи.

— Н-но! — на всякий случай вспоминаю бога и мать. Это у меня получается не очень-то убедительно, но лошадь понимает, послушно разворачивается к крутому склону, с привычной добросовестностью влегает в хомут.

— Давай, родненькая, давай! — умоляю я.

И лошадь выносит меня наверх. На открытом степном юру я деревеню. Только теперь мне открывается, на какое безумие я решился. Я бы не добрался сюда, если б не прижимался к земле. Земля-спасительница укрывала, сейчас оторван от нее, поднят над ней, выставлен под пули. Здесь пока, хотя и веет в лицо алчно стонущий ветерок, еще не столь опасно, а вот дальше... Там, дальше я не смел поднять головы, а теперь буду вознесен, не уцелеть под свинцовым ветром...

В цветном пыльном мареве на немецкой стороне садится солнце, натужно раздувшееся, гневно красное. Край земли не принимает его, оно даже сплющилось от усилий... Я гоню лошадь прямо на солнце. Она настороженно прядет ушами, неуклюже рысит, старается. Больше выжать из нее не могу — не из скаковых.

— Н-но, милая! Н-но, хорошая!..

Гремит и трясется повозка, лязгают мои зубы то ли от толчков, то ли от страха.

А вот и бывшая огневая, на рысах скатываемся вниз, лошадь останавливается — мол, приехали, — я перевожу дух, не в силах гнать ее дальше. Покинутое место, взрытая земля, остатки брошенного хлама, пусто и тихо, тихо. И сюда в низинку уже вкрадываются призрачные сумерки. Где-то наверху, в самом конце степи, заходит солнце, что стоит мне переждать, пока оно не зайдет. Опустится темнота, и тогда... Тогда никто меня не увидит, спокойно доеду, останусь жив. Спросят: почему так долго? Отвечу: хоззвод попал под обстрел, еле удалось выбить подводу... Поверят, не упрекнут.

Но Феоктистов... Я его знаю со стороны, он же меня не знает совсем... До чего простой выход — Феоктистов умрет, я буду жить. Звонцов просил: «Голубчик, пожалуйста, побыстрей».

В сердцах хлещу вожжами.

— Пш-шла! Ночевать пристроилась!

Лошадь качком трогается...

Солнце запало наполовину. Между ним, багровой горбушкой, и землей мутная проточина неба. Когда-то давным-давно был восход и я гадал, увижу ли закат... Вижу его, пока вижу!..

Визжат и давятся пули, некоторые оставляют бледные сполохи в помутневшем воздухе — это трассирующие... Посреди войны нас двое — я и она, живое доверчивое существо, настороженно прядущее ушами. Страдальчески радуюсь, что вижу закат. Пока вижу...

— Н-но, славная! Н-но, родная!

Она старается, громыхает подо мной нескладная телега, трясет меня.

От грядки повозки брызжет щепка, срикошетировавшая пуля воеет истерическим басом. Жив я, жива она.

— Н-но, красавица!..

Копыта мерно и тупо бьют по комковатому полю, колосья с шелестом обметают ступицы колес. Солнце скрылось незаметно, стеснительно. Степь нахмурилась, потемнела. Над ее далеким, сумеречно-синим краем сухое полыхание, а выше над ним на полнеба прозрачно-нежный, зеленый просторный разлив. Чуть-чуть осталось до темноты! Как перетянуть через это чуть-чуть? Как до конца доглядеть закат?..

Нас двое в обезумевшем мире. Только двое! Я и она, родная мне, единственная.

— Милая-хорошая! Давай!

Она старается, трясусь на повозке и гадаю: кого раньше, ее или меня? Встречный воздух настолько опасен, что страшно дышать. Тлеет закат. Пока вижу, пока дышу...

Совсем рядом давятся пули, зло кусают многотерпеливую, равнодушную землю.

Кого раньше, ее или меня?..

..Ни ее, ни меня. Мы на рысях подкатываем к батарее, нас обступают, а я сижу и никак не могу пошевелиться, одеревенел. Снизу заглядывает мне в лицо Звонцов, мясистый нос, широко расставленные глаза. Он, похоже, не очень-то мной доволен — заставил долго ждать, — но, приглядевшись, не произносит ни слова. За его спиной молчаливо сутулится батя Ефим.

Я ломаю свою одеревенелость, неловко сползаю вниз.

Кучно обступив, на туго растянутой плащ-палатке орудийщики подносят Феоктистова. Из-под наброшенной шинели торчит задранный подбородок.

Меня трогают за плечо.

— Почему нет связи?

Зычко в надвинутой до скул каске, оттеснивший Ефима.

— Линия цела...— мой голос вял и бесцветен.— У хозяйственников погром.

— Спрашиваю: пач-чему нет связи?

— Пошел к черту,— говорю я, не в силах сердиться.

— Сержант Тенков! Как разговариваете!?

Звонцов оборачивается к нам.

— В чем дело?

— Связи нет, товарищ старший лейтенант. Вот был послан в тыл и не наладил.

— Кое-что наладил... Ладно, ночь впереди, отладите и связь.

Зычко подтянулся перед командиром батареи.

— Разрешите мне сопровождать раненого? Усе сам выясню.

— Что ж...— согласился Звонцов.— Только побережнее, дорогой, не гоните, не растрясите...

Стоявший рядом Ефим хмыкнул. Я, не отмякший после поездки, не удивился ни просьбе Зычко, ни хмыканью Ефима.

Связь с Житом восстановилась сразу, как только подвода с раненым Феоктистовым отъехала от огневой. А еще через полчаса Жито сообщило: подвода с раненым прибыла, по пути убит сопровождавший, лошадь сама пришла в расположение хоззвода. Гадал ли Зычко на пути: кого раньше?.. Их было уже трое, пули пощадил лошадь и впавшего в беспамятство Феоктистова...

Неисповедимы пути твои, господи. Зычко устарила открытая позиция — в чистом поле, на виду у противника. Зычко всегда был обстоятелен и расчетлив. Тут просчитался...

С наступлением сумерек мы снова снимались. Ездовые пригнали упряжки, на этот раз без спешки, без гвалта и суеты подцепили пушки.

— Марш! марш!

На левый фланг. Там к утру ожидалась танковая атака. Ночью будут доставлены и снаряды, фугасные и бронебойные, в избытке.

Две пушки отправили в тыл — феоктистовскую и одну из третьей батареи. Потери дивизиона в первый день.

На новом месте меня поджидал уже Сашка Глухарев. Он сообщил: Смачкин подготовил НП, приказал тянуть к нему связь. Зычко не было, распоряжаться приходилось мне. Я оставил на огневой Ефима, сам взялся за катушку. На этот раз НП был близко, всего в каких-нибудь пятистах метрах.

Наступила ночь.

Звезды обнимают степь. Они здесь низкие, пристальные. Небо торжественно распахнуто, а земля темна, скрытна. Люди на ней прячутся друг от друга, друг друга сторожат, а потому рады свалившейся темноте. Целый день ты пресмыкался на животе, был земляным червем, теперь можно из земли вылезти, встать на ноги, распрямить спину, развести плечи, и недремлющий враг не увидит, что ты принял гордый человеческий облик.

Но и в самое глухое время не будь слишком доверчив. Темнота спасительна и ненадежна, та и другая сторона подозревают козни, и это вызывает их на разговор. В черной потусторонней бездне коротко пролает пулемет: не сплю, сторожу! Басовито громыхнет в ответ наш: тоже бдим, не сомневайся! Вскинутся автоматчики, сварливо переругнутся. И среди звезд небесных появляются звезды иные, одна за другой по ранжиру — цепочки трассирующих пуль. Уйдут вглубь, заблудятся, не оставят следа. Идет ночная беседа, значит, тихо на фронте, война отдыхает. Не спугни этот отдых.

Наш НП вплотную к стрелковым окопам. Я так и не встретился на ночь глядя со Смачкиным. Он свалился и спит, не дождался даже, когда мы подтянем связь. Хорошо знал Зычко и как мало этого человека: где рос, как жил, кто его родители, имел ли друзей, что любит, что ненавидит?.. Сегодня ворвался в мою жизнь, нет, близким не стал — дистанция между нами! — а вот родным, пожалуй. Не представляю без него своего завтра. Странно сводит людей война — роднит практически незнакомых. Едва знаком с Чуликовым, а были рядом несколько месяцев, и сегодня он для меня еще большая загадка, а расставаясь, помнил о нем, развевет судьба, останется в памяти. Вот Сашка Глухарев, напротив, стал далеким, будет ли рядом, нет ли, безразлично. И сидит сейчас за телефоном возле спящего Смачкина мой связист, заменивший убитого Нинкина, знаю его с зимы, но, каков он, сказать не могу, и, как нас свяжет завтра, тоже не ясно.

Рассыпаны низкие звезды над степью. Сама степь, накаленная за день, отдает сейчас живое тепло. Я один на один с ночью...

Из соседнего окопа тишком, осторожненько вылезли двое пехотинцев, уселись на закраешек против бруствера, сложили руки на коленях, замерли — две бесплотные тени. Уж этих-то я никогда не встречал, не разгляжу во мраке их лиц, не ведаю их имен, но и они в эту минуту мне братски родны. Как я, они не знают, останутся ли живы, как я, устали, как я, счастливы неподвижностью.

И, чтоб скрепить случайное братство, я говорю:

— День прожили, а ночь наша, до утра доживем.

Но они не пошевелились, молчат — тени, не люди.

— Эй! Что не спите, полуношники?

Молчание. Наконец запоздалый отклик:

— Ты нам, парень?

— Что не спите, спрашиваю? Завтра немец рано разбудит.

— Мы ведь не слышим. Оглушило нас в окопе.

Тут уже замолкаю я.

— Мне еще кой-чего долетает, вроде через стенку. А мой кореш что пень совсем. Даже и говорит спотыкаясь.

Вот и побеседовали... Плывет звездная ночь, перебраниваются передовые. Сидят по соседству отрешенные тени.

Неожиданно на немецкой стороне вспыхнули выстрелы, гулко заработал крупнокалиберный пулемет. Всколыхнулись и наши. Сквозь звонкий переполох доносится глухой стук мотора, знакомое в нем. Невысоко в воздухе вдруг вызрел тугой сгусток света, накаленно белый, повис там, за нейтральной. Ночь от света вздрогнула и сгустилась, а звезды отпрянули. Второе яростно накаленное тело в воздухе,

третье... Не падают, висят, даже отсюда я вижу обнаженную колкую шершавость степи. Молотит, не переставая, крупнокалиберный, захлебываются автоматы, а всю эту путаную трескучую россыпь укачивает и трамбуует неторопливый машинный звук. Тюк — далекий взрыв. Тюк!.. Тюк!.. Он, «кукурузник»! Видать, не сказки рассказывают, что работает по ночам. Выше яркого света летает над немецкими окопами девица, капает с белой ручки — тюк, тюк... Развешенные фонари медленно опускаются, а стук мотора становится все глуше и глуше — закончила дело и уходит... Фонари ложатся на землю и гаснут один за другим.

Отпрянувшие звезды снова занимают свои места в небе, но передовая растревожена, трассирующие пули уже не плывут стройно вверх, плещут по сторонам режущими молниями. Мои незадавшиеся собеседники не спеша лезут в окоп, я не хочу вниз, вытягиваюсь на теплой земле.

Немцы кидают в нашу сторону ракеты, янтарно-желтые и переливчато-зеленые. Степь морщится, неприязненно поеживается на их свету. Ракеты не долетают до нас, конвульсивно догорают в тощей траве.

Из нашего окопа высовывается мятая, расплывшаяся пилотка, за ней следом узкое бледное, спросонья подслеповатое лицо Чуликова. — Это ты, сержант?.. Минуточку...

Пилотка ныряет вниз, Чуликов показывается с плащ-палаточным свертком.

— Смачкин приказал тебя накормить, а я, прости, заснул... Наверно, не помнишь, когда и ел.

Когда-то в давнем прошлом. Я даже забыл, что людям положено питаться, что на меня идет армейский паек, несколько раз испытывал мучительную жажду и не чувствовал голода.

С шуршанием разворачивается плащ-палатка, передо мной появляется котелок.

— Ложку дать?

Я лезу за голенище.

— Своя цела.

— Как принято говорить в хорошем обществе: приятного аппетита... Я, сержант, вырос в хорошем обществе — ходил в консерваторию, слушал Баха, пытался решить теорему Ферма.

— Для экзаменов, что ли?

— Для экзамена. Триста лет математики его держат и все до одного срезаются.

— Ты тоже срезался?

— Тоже. Пошел добровольцем. Сейчас у Смачкина задачки решаю.

Они попроще.

В котелке холодная рисовая каша и щедрый кусок мяса. Мясо явно с душком, меня от него поташнивает, ем через силу.

Злой визг со всхлипом, хлестко бьет земля с бруствера. Шальная пуля чуть-чуть не дотянула, я даже не успел вздрогнуть. Рисовая каша забита землей. Прячу ложку в сапог, котелок швыряю в степь.

Чуликов огорчается:

— Вот тебе и приятного аппетита. Мои хорошие манеры не ко времени, сержант.

Котелок с мясом я выбросил, а тошнотный душок остался, висит в воздухе.

— Чем-то пахнет. Тебе не кажется? — спрашиваю я.

— Тут вчера, говорят, до рукопашной доходило, лоб в лоб сходились. Ну и остались на нейтральной полосе и наши, и немцы... Ветерок-то от них повернул... Завтра все заново. Велик день пережили, велик!

К нам в окоп заглядывает переливчатая звезда, одна-единственная из многих тысяч.

Велик день за спиной...

Да неужели только сегодня мы выскочили из теплушек? Нет, нет, в незапамятные времена, где-то в самом начале моей жизни колеса под нами отстучали по последним стыкам и чей-то смачный бас возвестил: «Приехали!» Помню, оглядывал ровную степь, искал глазами фронт. Был молод, был глуп, смешон сейчас для себя — взрослого.

День, только день! Но сквозь него не разгляжу прошлого, скрылось вдали. Там осталось много счастливых лет. Да, была из года в год школа с ее маленькими тщеславными радостями и огорчениями — надо же, на экзаменах двойку математичка вlepила, как переживал! Да, из года в год повторялись каникулы — костры в ночном у реки, старая мельница с гнилой плотиной, под которой жила щука-дубасница, многие ее видели, все за нею охотились, никто не поймал. Да, было, было! Но какая это жалкая горсточка в памяти по сравнению с бесконечным днем.

«Приехали!» В седой древности прозвучал голос. От него до этой мерцающей звезды — век. Кто-то его не дотянул, сорвался — Нинкин, Зычко... Дотянул ли Феокистов?.. Я дотянул этот век, но сильно постарел и утратил прошлое. Чуликов, наверное, тоже. Теоремой Ферма занимался... Какой чепухой мы жили. Жили?.. А может, просто грезится? Есть день, вытеснивший жизнь, и ничего больше.

Завтра все заново.

Одинокая звезда заглядывает в окоп. Увижу ли ее снова?..

Подготовка текста и публикация
Н. АСМОЛОВОЙ-ТЕНДРЯКОВОЙ

